

Станислав Львовский

СЛОВО О ЦВЕТАХ И СОБАКАХ

ВЫВОДИТЕЛЬ РИТМА

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Я часто думаю обо всяких разных вещах. Например, я представляю себе, что дождя до конца лета вообще теперь больше не будет. Бабочки выцветут, хлеб сгорит, потом начнут загораться дома, в конце концов всё сгорит.

Ещё я думаю, что витрины продуктовых небольших магазинов в центре города – это просто заплатки на пустоте. Очень мужественно, конечно, да, но совершенно без толку. Всё равно простыночка ветхая, не удержать – превратится в нитки, потом в мелкий мусор, потом в пыль. А потом пыль сядет на мои ботинки, и без того не слишком чистые. И я тоже сяду. И буду сидеть. И представлять себе всякие такие вещи, но уже ничего не будет. Кроме свободного места.

И это будет очень похоже на то, как я сижу здесь, сейчас, жмурюсь на солнышко как кот и представляю себе, что когда мы разговариваем – с ней или с кем-нибудь ещё, всё равно – мы говорим всегда о совершенно разных вещах, которые не имеют друг к другу никакого отношения. А может быть, – оживляюсь я, – может быть, я даже не знаю, как она выглядит. И это не она. Это шпионка межгалактической разведки, которая обманом заняла её место ещё до того, как мы встретились. Сделала себе пластическую операцию, а её убила. Каждый вечер она передаёт на спутник-шпион данные о положении разных дел. Там, на спутнике-шпионе, очень удивляются. "Что же это, – спрашивают они друг друга, – что же это там происходит?" И пожимают плечами в полном недоумении. Потому что я каждый вечер подменяю её донесения всякими своими историями. И вот они смотрят, и видят: идёт дождь. А в шифровке написано: "Засуха, каких не видел ещё христианский мир. Посевы сожжены солнцем, из-за неисправностей электрической проводки выгорают целые города. На пепелищах пасётся редкий вид саранчи с женскими лицами и медными крыльями. Голубые фишки упали ещё на сто пунктов, медведи ликуют". И вот, на этом самом месте, на этих медведях с фишками, межгалактическая разведка теряет самообладание, впадает в панику и пытается отозвать её обратно. Но не тут-то было.

Потому что я подменяю их донесение своим и получается что-то вроде того, что кофе на плите, йогурт в холодильнике, завтракай, целую, люблю.

Я её правда люблю. И представляю себе, что это она придумывает про меня истории, а на самом деле я – это её ангел-хранитель с самого нежного возраста. А что мы трахаемся, и ходим в кино, и ездим отдыхать на море – это она представляет себе про меня, чтобы мной не заинтересовалась межгалактическая разведка. Я – вроде её прикрытие, но не в том смысле, что ангел-хранитель, а в шпионском и больше для себя.

То есть, теперь уже получается, что я бык и играю на повышение, что она мужественный разведчик, а не девушка. А она тогда медведь, потому что я у неё – не ангел-хранитель, а молодой человек, за которого можно, в случае чего, и замуж выйти, но лучше не надо.

Потому что когда она уверена, что межгалактическая разведка спит праведным сном ребёнка, – а на самом деле, у разведки, тем временем, другие проблемы, не то с медведями, не то уже с санитарями – так вот, когда она за меня не боится, она думает, что это она – мой ангел-хранитель. А что мы вместе ездим в отпуск, и ходим гулять, и трахаемся время от времени – это вроде бы я себе представляю про неё. Чтобы Господь наш не заинтересовался этим безобразием насчёт того, что я путаю межгалактическую разведку своими телегами. Так что и она, получается, вроде бы, моё прикрытие. Только не в смысле шпионов, а в смысле Бога.

На скамеечке сидеть хорошо, дождь вот только скоро пойдёт, настоящий ливень. И я представляю себе, как потоки воды хлынут по улицам, город смоем – кроме моей скамейки, а я буду сидеть и сочинять очередную шифровку. А по пустынным сырým развалинам разбредутся медведи. А быки уйдут из города неизвестно куда, и больше мы их никогда не увидим. И никого мы с ней больше не увидим, ни стариков, ни детей, ни милиционеров. И разведка наша улетит от греха подальше куда-нибудь на Солнце. Или на Луну. В отпуск.

Я так представляю себе, что когда они все улетят, она сочинит про меня для них историю, что я – её ангел-хранитель. А по основному месту работы на самом деле – историк-метеоролог. Как я пришёл однажды на основное место работы, а там неизвестно что творится, сотрудники пьют пиво, начальник смотрит порнографию, запершись с секретаршей в своём кабинете. А я – сразу к монитору. А там землетрясение, откровение иоанна богослова и гибель посевов. "Что, – думаю, – делать? Я же ангел хранитель! А не только историк-метеоролог!". Нажимаю Alt+F4, и повсюду воцаряются мир и спокойствие. Все ликуют, и быки, и медведи, и ложатся рядом, и вообще. А потом иду покупать ей йогурт. Хотя очень хочется выпить пива.

И вот, пока я, ангельскими крыльями, лечу сквозь город в поисках йогурта, мне представляется как-то, что она там одна и пьёт по утрам кофе, и работает где-то, не имея даже простого адреса электронной почты. И поплакивает иногда, потому что я про неё забыл, увлѣкшись, и вот сейчас именно вот-вот заплачет – прямо себе в кофе маленькими слезами. Потому как, ведь и разведка вся в отпуске, и матери не дозвониться, и на работе пиздец. А тут я – спускаюсь невидимо к ней, на газовой плите подпалив кончики перьев. И говорю: "Не плачь, на вот, йогурт тебе, поешь." И всё становится хорошо.

Мы выходим с ней на улицу, по направлению к парку. Спорить нам уже не о чем, поэтому мы придумываем историю, как я сижу на скамеечке, в парке. Светит солнышко, и в руках у меня маленькие живые зверьки – например, медвежонок. И ещё, скажем, бычок. И они спорят, настоящие мы с ней – или нет. А главный разведчик межгалактической разведки всё это слушает и не понимает: то ли это спутник-шпион, чудо инопланетной техники, барахлит, то ли пора на пенсию, то ли что вообще? А медвежонок бычка так лапой. А бычок медвежонок так рогами своими маленькими. А вокруг скамеечки уже ничего. Только банка из-под пива рядом валяется, а так ничего, пустота, даже воздуха нет. Так нам с ней представляется, что она в это время сидит рядом, жмурится на солнышко и мурлыкает тоже. А на нашу Родину надвигается в это самое время пыльная буря – в смысле возмездия Божия за всю эту нашу лажу с ангелами-хранителями и шпионскими донесениями. Тут мы как взмолимся: "На медвежонок-то, на бычок греха пред Тобою, Господи, нет! И главный разведчик межгалактический ни при чём. Так что ты нас бери с нашим йогуртом глупым, а их остави, не трогай, пусть порадуются ещё солнышку, поживут..."

А он смотрит на нас и так ему представляется, что это не йогурт у нас, а перемешанная такая наша душа. Молоко – это там от меня. А персик, или яблоки – от неё. И тут он придумывает такую про нас историю, что, вроде, мы их не нарочно перемешали и собираемся есть, а просто не поняли, что это теперь, во-первых, душа, и, во-вторых, общая нам, одна на двоих. А не йогурт. И придумывает дальше, что он нам всё объясняет подробно про душу. Что кусочки натуральных фруктов – с дерева жизни. А молоко – из сосцов серны. И мы с ней всё понимаем – от первого до последнего слова. Поднимаемся со скамеечки и идём по воздуху. А над нами и под нами, из последних сил пытаюсь привлечь к себе внимание, истошно пищат межгалактические спутники-шпионы.

И вот, примерно через полчаса, мы оказываемся на самой окраине. Вокруг повсюду развалины, мокрые от недавнего потопа. Пока мы дошли, она про меня придумала так, что я не ангел-хранитель её, а главный шпион, который замаскировался под ангела-хранителя, чтобы она сама его дальше замаскировала под меня. И вообще никто тогда как бы ничего не поймёт, идеальное прикрытие.

А я придумываю, что это всё по правде, но она об этом не знает. И то, что она сейчас про меня придумала – это и есть самая главная шифровка. Только она и об этом не догадывается. И я представляю так, что я эту шифровку перешифровываю как всегда и посылаю себе на спутник. А там сидит главный межгалактический разведчик, и вот он послание моё получил и читает. А там вот чего написано: "Земля твоя горит, только этого никто не знает и не узнает, потому что будет дождь и весь огонь погасит. Будет великая радость всем просвещённым народам. Голубые фишки поднимутся. Быки будут ликовать и ложиться рядом с медведями. И вообще." И вот, маленький их зелёный киссинджер читает эту мою сводку погодно-биржевую и становится всех цветов радуги. И шлёт ей ответ срочной экспресс-почтой. Но я его перехватываю и передаю ей другой совершенно текст: "Пошли домой. Будем трахаться и мазаться йогуртом. Я тебя буду любить и возить в отпуск на море. Потому что прекрасна ты, возлюбленная моя, и вообще, нам пора."

Подходим, самое дело, к дому. Видим, горит, ничего уже от дома нашего не осталось, пепел. Бабочки выцветшие летают везде, кричат, садятся нам прямо на кожу, на пузыри от ожогов. Потом смотрим – и я там сижу на скамеечке, жмурюсь на солнышко. И от солнышка у меня карцинома на веках. А вокруг – свободное место. И мы смотрим с ней друг на друга, и, не сговариваясь, посылаем на хер разведчиков этих, биржевиков всяких. И придумываем, чтобы всё опять стало хорошо.

И всё опять оказывается хорошо. Посевы в порядке, биржа в ажуре, метеосводка – как у Христа за пазухой.

И вот, мы уже сидим на скамеечке, снова вдвоём, больше нет никого. И целуемся, перемазавшись в йогурте, прямо у всех на виду. И Alt+F4 становится Ctrl+S – навсегда. Вообще навсегда, совсем, во век века. Пока время, то есть, не кончится. Не просто время, не жизнь. А время думать обо всяких таких вещах.

НЕ МОГУ ДЫШАТЬ

Он поворачивается медленно, и она. Тоже поворачивается, медленно.

Медленно, и чтобы повернуться нам нужно оттолкнуться от какого-либо более или менее классического текста, каковая необходимость является чуть ли не проклятием всей нашей жизни. Мы неповоротливые. Неповоротливые как кролики. Но менее плодовиты.

Он меня встретил первый раз там. Какая разница. Чем мужчина ориентируется хуже, тем женщина, у которой внутри, видимо, гирокомпас или что-нибудь. Улица, какая разница, все похоже как одуванчики.

Мы так и поворачивались друг к другу, медленно. Как двери закрываются в каком-нибудь банке, когда посетитель вышел. Он уже у машины, а дверь все тянется неторопливо закрыть аккуратную регулярную прореху.

Так и стояли на тротуаре, глядя друг на друга.

- Ох, простите.

Бросился поднимать сумочку, собирать вырвавшееся на асфальт содержимое. Улыбалась. Собрал: зеркальце, кошелек, бумажные салфетки, записную книжку, две связки ключей, синюю коробочку с “Тампаксом”, носовой платок, Тик-Так, косметичку, розового плюшевого зайца. Поднял глаза, выпрямился: костюмчик неопределимого цвета с воротником из стеклопыжика, светлые волосы, лицо мое, лопнувший сосуд на поверхности глазного яблока, выпрямился, посмотрел.

Собственно у двери какого-то из расплодившихся фаст-фудов. Похожа на официантку, какой ужас.

Да, вошли вместе.

- ... и вот, представляешь, вызывает она дух своего покойного мужа и спрашивает, затаив дыхание: “Как ты там, дорогой?”. А он ей: “Ну, как, как... Поспим, поедим, потрахаемся, поспим. Потом опять поедим, потрахаемся, поспим, снова потрахаемся, поедим...”. Она, в шоке: “Милый, это что, Рай?”. А он: “Да какой, к черту рай! Я кролик в Кентукки!”.

Боже, как смешно, только ни при чем вовсе. Девятнадцать лет, экзамены в институт провалила, пошла секретаршей в какое-то ТОО “Глобал Интернешнл”. Шеф домогается, в журнале “Космополитен” пишут то-то и то-то, в журнале “Харперс Базар” пишут, что модно психоанализ и дзен-буддизм.

*

Вошли вместе. Гамбургер и тому подобное. Вместе вышли, как братья-близнецы. Вот у меня в детстве была сестра-близнец. Мы друг у друга разглядывали, а потом обменивались результатами наблюдений. Мальчикам в этом отношении существенно проще, всё на виду.

Все-таки эти фаст-фуды — дерьмо. Страшное. Но это ничего. А то могло бы быть ещё гораздо хуже. Куда, говорите, делась сестра-близнец? Да от ложного крупа умерла. Ложный круп, бич маленьких детей. Бич Божий. Чтобы не слишком гордились своей безгрешностью. До семи лет даже не исповедуют их. И родителям напоминание, всё-таки. Нечего, мол, грешить, а то вот вам.

Зачем они гамбургеры подают в целлофане?

Чтобы трудно его было сдирать. Сдирать с раскаленного микроволновкой гамбургера.

Затем же, зачем женщина хочет, чтобы мужчинка ее раздел сам.

Чего хочет гамбургер?

Быть поглощенным, очевидно. Глядит на клерка, усталого в обеденный перерыв. Глядит, как кролик на удава.

“Съешь меня” — говорит. Как пирожок Алисе. Алисе, так и не преодолевшей сексуальные комплексы викторианской эпохи. Так и не смилившейся с фактом наличия у себя очевидной оральной фиксации. И тяга к галлюциногенным грибам, к тому же. Гусеницы разговаривают, пропорции тела изменяются. В пирожке марихуана, в пузырьке аяхуаска.

В гамбургере — гарантийный человечек с двойной фамилией. Кройцфельд-Якоб. И англичанин, кстати, несмотря ни на что.

Ну, конечно, я дала ему свой телефон, а вы как думали?

*

А они ещё любят задавать вопросы. А ты чем занимаешься? А где ты работаешь? А как тебя зовут? А дети есть? А куда ты хочешь прийти? А ты меня не обманываешь?

А я откуда знаю, откуда? Мне-то откуда знать?

А зовут меня Алиса Плезнс Лидделл.

Беги, кролик, беги.

А я иду домой.

Домой. И сестра моя близнец умерла так что некому поймать меня на лжи. Родители мои умерли, так что на лжи меня поймать некому. А тебе не поймать, потому что ты еще позвонишь сегодня вечером. Мы похожи на кроликов. Но менее плодовиты. Мы медленнее движемся, всё медленнее. И, о Господи, как же мы неповоротливы, как похожи. Не могу дышать.

- Вам больше ничего не хочется?

- А что, разве еще что-нибудь осталось?

Еще как. Остался стеклопыжик, бедный некрасивый зверек. Остался мой крепкий клюв, изогнутый и крепкий. Осталось несколько дней. Остался еще целый месяц лета. Осталось на дне, в стакане, тихое, прозрачное почти. Много чего осталось.

До свидания, не могу дышать.

БЕЗ МУЗЫКИ

Когда он говорил: воронья шуба, - он что имел в виду? Из ворон не шьют шубы. Шубы – это шиншилла, норка, цыгейка на крайний случай. Один англичанин подходил как-то к Спасским воротам. Вдруг, откуда ни возьмись, налетает торговец шапками, нахлобучивает на него головной убор и шепчет горячо и где-то даже, отчасти, с нежностью: «Full rabbit. Your size.».

Стою в магазинчике, по дороге от дома к метро. Впереди меня в очереди тонким пальчиком дама указывает на йогурт, на колбаску, на козий сыр, снова на йогурт. На даме неясного фасона одежда с воротником из грустного грызуна. Грызун, бессильно свесив облезлые лапки, смотрит безразлично стеклянными глазами на йогурт. Восточный человек, стоящий поодаль, не выдерживает. Обращаясь к даме:

- Скажите, а вам животное вот это не жалко?

Дама царственно оборачивается.

- Жалко. Но я опоздала. Когда я его пришла покупать, оно уже умерло.

Грызун вздыхает, потому что ему не повезло, и вообще всю жизнь не везло. Опоздала дама с пальчиками. Всего пять минут, возможно, опоздала. И грызун умер. Не достроив плотину, не доев сыр. И оркестр не играл на его похоронах. И не было похорон. А только сплошные посмертные походы по магазинам и ежедневная толчея в метро.

Умница Сведенборг. Таких как он еще поискать.

Но все-таки. Воронья шуба – это что? Ворона – это перья, неприятный тембра голоса, гнездо на уровне седьмого этажа. Ворона – это за чьими детьми наблюдает поэт-психоаналитик Михал Палыч Нилин со своего балкона в районе улицы Черняховского, возле метро «Аэропорт». Согласно народному поверью, ворона – это у кого муж ворон. Ворон – это, в свою очередь, Эдгар По. Поэт и прозаик, никогда больше и Улялюм. Если бы меня так звали, сказала одна знакомая, я бы удавилась.

И висела бы на вешалке.

Бисексуальная девушка Джули Хьюитт (Ontario, Canada), с которой я переписываюсь по mail'у, мечтает об армейской шинели из далекой России. По ее мнению, шинели Чешской Армии нашим в подметки не годятся. Наши тёплые и вообще, russian military clothing – это cool по приколу. Заметьте, воронью шубу она не упоминает. Это по-английски вообще едва ли можно сказать. У нас с ней общего а) приверженность либеральным ценностям и б) любовь к Леонарду Коэну. Из-за того, что слово «шуба» там всегда подразумевает мех в качестве составной части, я ей даже не смогу объяснить, в чем моя проблема. Да и что ей, собственно, Гекуба-то?

А я вот всё думаю: воронья шуба – это, Господи что же такое, что?

Может быть это полный кролик и мой размер?

Может быть это Сведенборг и посмертный шоппинг?

Может быть это никогда больше и Аннабел Ли вообще?

Очень легкомысленная особа, - не одобряет ворону Михал Палыч. Седьмой этаж, гнездо, массивный балкон. Облако как беличья шкурка, шиншилла. Опоздала дама. Всего ничего, пять минут опоздала. Кто-то вынул перчатку отсюда, перевернул, а она потом надела не на ту руку. Александр Герцович говорит, не грусти, мол, Наденька, незачем ревновать, не было у них ничего. И вообще поздно, чего уж теперь.

Итальяночка, итальяночка, умереть не страшно, слова. Слова, нет, нет, не грусти.

КОРАБЛЬ, ЖУРАВЛЬ, СОН

Н.П.

Полгода назад Ляле приснился сон, как она беседует с кем-то, они сидят в удобных мягких креслах друг напротив друга, говорят о чем-то необычайно интересном, что Лялю волновало всю жизнь, но тут звонит будильник. Она говорит собеседнику: “Подожди, я сейчас выключу и вернусь”. Он кивает и даже как бы улыбается. Ляля встает, выключает будильник, поворачивается и видит в утренней зимней темноте (фонарь еще светит за окном) смятую постель. Она иногда об этом сне вспоминает, рассказала его нескольким знакомым, девочкам на работе. Такие сны часто вспоминаются, как стихи, которые в школе наизусть заставляли.

Сейчас дело уже другое, конец лета, солнышко и трава, а скоро будут, наоборот, ветер и снег. И если все будет хорошо, Ляля переселится к тому времени опять, возможно, куда-нибудь к себе домой, где готовят еще к обеду суп и второе, большая редкость по нынешним временам. Свободного времени, кстати, у Ляли станет существенно больше, работа будет, по всем приметам, денежная, а гороскоп в журнале “Лиза” обещает большую любовь и чуть не прибавление в семействе. Последнее было бы, пожалуй, слегка чересчур, думает Ляля, но человек предполагает, а Бог, как известно, пиф-паф, не взирая ни на что.

Так проще, конечно, Ляле думать, что вроде Бог располагает, а она, Ляля, предполагает. Вот и со сном та же, несомненно, история. Наяву Ляле редко удастся заполучить интересного собеседника. Интересные собеседники мало выдерживают лялиных рассказов из личной жизни, на события, в сущности, небогатой. Поэтому, зато письма, которые отправляются потом Лялей друзьям в разные места, представляют собой целую поэму. В одной, правда, прозе, но зато в пяти актах и многочисленных антрактах. Письма в ответ обычно короткие наоборот, деловые. Как будто событий в разных местах больше, а вокруг Ляли как слепое пятно вроде, ничего не происходит.

Но Ляля, молодец, надежды не теряет, пишет письма, почтовые работники в разных местах к лялиным письмам привыкли, беспокоятся, когда отчего-либо долго писем нет. Одна почтальонша старенькая даже открытки с поздравлениями Ляле шлет на различные праздники. Но пожелания долголетия, счастья в семейной жизни и прочего - они как бы неизвестно от кого приходят, непонятно, во всяком случае, от кого. К тому же иногда бывает, скажем, Первое Мая, с тезоименитством Франца-Иосифа какого перепутано, почтальонша-то старенькая. Поэтому к открыткам Ляля относится философски, без любопытства.

Ляле так проще, конечно, думать, мол, не ей это открытки, потому что семейной жизни, как говорится, никакой; долголетия в ее возрасте тоже желать как-то не принято - девушке, известное дело, всю дорогу девятнадцать, до самых двадцати девяти, когда дети и всё такое. К детям Ляля пока только примеривается, присматривается со страхом, боится в старуху превратиться, сдать по всем позициям как сдала лялина мать, неожиданно быстро и как бы без особых причин.

Но Ляля открытки, тем не менее, не выбрасывает, складывает в верхний ящик хозяйского письменного стола. Стол наверняка списанный, самостоятельно, с трудом и за сумасшедшие деньги вывезенный напоследок из конторы почтового ящика типа НИИ, что-то с космосом. С подписанным разрешением через проходную, мимо строгих, хотя в чем, спрашивается, душа держится, бабушек из ВОХРы, на собственном горбу, можно сказать вынесенный стол.

Хозяйка, по ее же словам, честным мэнээсом корпела до пенсии над проблемой уборки космического мусора, разрабатывала какие-то фантастические щупы и захваты. Домашний мусор, между тем, ждал обычных веника и совка в обычных женских руках, но дождался редко по причине большой загруженности, включая субботники, сверхурочные и ночные дежурства. Через этот самый космический мусор хозяйка лишилась мужа, сбежавшего с молоденькой, а также сына, который мгновенно после измены супруга отбил от рук и покатился по скользкой дорожке. Теперь она, хозяйка, сдает Ляле эту самую квартиру, на которую всю жизнь, можно сказать, копили, построили все-таки кооператив, где, как предполагалось, сын будет жить, как все люди, с женой и, возможно, внуками, недалеко от родителей.

Ляля хозяйке сочувствует, ежемесячную плату вносит исправно, не задерживая. Квартиру Ляля убирает часто, поддерживает в порядке, потому что сын вот-вот, предположительно выйдет по амнистии, и тогда Ляле переезжать, освободить площадь законному владельцу.

А до этого момента Ляля проживает здесь, хотя и на птичьих, как говорится, правах, примеривается к денежной, вроде бы по всем признакам работе. К тому же, на горизонте маячит призрачная, но большая и романтическая любовь, пикóвый интерес, прибавление в семействе и один бог знает, что еще. Ляля пишет письма бывшим друзьям в разные города, городки, один дальше другого, готовит себе на ужин яичницу, читает на ночь нестрашные детективы писателя Рекса Стаута и мечтает о московской прописке. Так проще, конечно Ляле думать, что, мол, ей пикóвый интерес и прибавление, а хозяйскому сыну вроде одному дальняя дорога и казенный дом. Но она молодец у нас, не теряет надежды, хотя ничего не происходит, как бы слепое пятно вокруг нее, как бы чем-то она пахнет, и как бы от запаха окружающим неприятно, и они расступаются, Лялю пропускают мимо себя.

А зря, между прочим. Потому что она, конечно, не красавица писаная, наша Ляля, но юная, как-никак, девушка, готовая, при случае, принять интеллигентное приглашение в театр или, скажем, на выставку, а там уж как знать. Пока никто не приглашает, Ляля украдкой от строгого начальства посещает при помощи секретарской, на ладан дышащей четверочки тайваньского производства, неизвестно где расположенные чаты и домашние странички. Ляля беседует на разные темы со всеми и жалеет, что нельзя так вот просто собраться где-нибудь. У нее, например, почему нет. Она бы напекла пирогов и сделала салат “Оливье” и вина купила бы, они бы посидели душевно, как сидели родительские друзья раньше у них в доме. Но по нынешним трудным временам любая дорога стоит целое состояние, и возможности нет даже в отпуск временно уволиться, не говоря о том, чтобы в гости, хотя это, вроде бы, и менее хлопотно.

Так что Ляле плохонький модем на четырнадцать четыреста пока вроде сверчка за печкой на холодной работе в обеденный перерыв, в прямой видимости бесполезного, на части рассыпающегося калорифера. МГТС на Лялю особенно внимания не обращает, как и все остальные, включая соседей и сослуживцев. Связь часто рвется, приходится все сначала, а это долго и стоит денег, хоть бы и чужих. Но зато когда начальница уезжает на неделю в командировку, Ляля разговаривает со всеми на все без исключения темы - о клонированной овечке Долли, о преимуществах и недостатках КОИ8, о любви втроем и даже о том, стоит ли легализовать марихуану, которую Ляля никогда не решалась попробовать, хотя некоторые предлагали, довольно настойчиво.

Еще Ляля любит ходить туда, где лежат разные анекдоты. Сначала она пробовала пересказывать некоторые, самые смешные, Юле, секретарше из соседнего отдела. Но та почему-то никогда не смеялась, говорила, что анекдоты у Ляли все старые. Ляля первое время старалась, отбирала свежие, про программистов и новых русских, но Юля как-то кисло всё равно слушала, с таким выражением лица, что, мол, давай скорей, работы полно. Хотя у них в отделе происходил как раз тогда постоянный перекур и флирт разной степени тяжести. Так что теперь Ляля анекдоты читает сама, улыбается, а самые смешные коллекционирует, вдруг пригодятся рассказать где-нибудь в гостях, если позовут.

Ляля даже завела себе свою собственную страничку, на которую, впрочем, мало кто заглядывает, изредка только. Это потому, что мало кто может выдержать длинные рассказы из ее, лялиной жизни, которые, собственно, и лежат на страничке, украшенные сердечками, принцессами и цветами. Но Ляля ведет счет посещений и надежды не теряет, молодец. Рассказы обновляются раз в две недели, как положено, но все равно стихов в лялин альбом никто пока не пишет. Работники службы поиска морщатся и воротят нос, погода, новости, музыка, спорт, акции Apple поднялись на четыре пункта, Microsoft выпускает русскую версию Office 97, курс доллара на прежней отметке, нажмите сюда. А женские глупости интересно мало кому. Как бы слепое пятно вокруг лялиной странички, килобайты в почтовом ящике пылятся почему зря.

А начальница, тем временем, приезжает из командировки или отпуска, дым коромыслом, и Ляле не до странички, ни до чего, время разбазаривать средства и время печатать квартальный отчет, то есть как раз до конца недели, ко дню тезоименитства Франца-Иосифа, хоть умри. Яичница по вечерам всё такая же на вкус, правда яйца в гастрономе по дороге домой несколько помельчали, те же деньги за тот же десяток, очевидно влияние радиации, неблагоприятной экологической обстановки и общей усталости сил. Орхидеи у Ниро Вульфа, скорее всего, сказочные, не чета заморышам из киоска, с амнистией у хозяйкиного сына какие-то проблемы, так что переезд откладывается пока, на неопределенное время. Жизнь у Ляли не слишком богата событиями, но она молодец, надежды не теряет, пишет письма, страничку свою добросовестно, каждые две недели обновляет, и два десятка посещений набралось уже между делом.

А тут еще виды на новую работу, вроде бы, по всем признакам, довольно денежную. Впереди маячит большая любовь, пикóвый интерес и чаемое прибавление в туманном несколько грядущем замужестве и семействе. Скоро Новый Год, а там, глядишь и очередное тезоименитство, неизвестно от кого открыточка с поздравлениями на дне почтового синего ящика, новый модем.

Но все равно как бы пятно слепое вокруг Ляли, редко собеседника интересного удастся залучить ненадолго, перекинуться парой слов обо всем сразу, вплоть до проблем биоэтики и свободы киберпространства. Но все равно Олинька наша с рассказами своими о собственной своей лялиной жизни - в письмах, в синеньких гипертекстовых ссылках - все так же неизвестно к кому пристаёт опять целыми днями, в особенности вечером пятницы и по субботам-воскресеньям, когда все приличные люди на даче или в гостях.

Но все равно как бы пятно слепое на отслоившейся, неаккуратной, хотя и по всему, вроде бы, миру, сетчатке. Где-то там спит в одном из узелков Ляля, собственная своя страничка. Килобайты как домашние мыши шуршат по ночам за стеной, на кухне. Дремлет Ляля, и видит сон, что будто бы она беседует с кем-либо, и сидят они в удобных мягких креслах друг напротив друга, говорят о чем-то необычайно интересном, что Лялю волновало всю жизнь. Но тут звонит будильник. Она говорит собеседнику: “Подожди, я сейчас выключу и вернусь”. Он кивает и даже как бы улыбается. Ляля встает, выключает будильник, поворачивается и видит в утренней зимней темноте (фонарь еще светит за окном) смятую постель.

Но все равно, хлопоты бубновые, как ни поверни. Все равно пикóвый интерес, так или иначе. Все равно большая любовь, прибавление в семействе, новый модем. Сердечки горят, цветы цветут, принцессы скачут на лошадях, терпеть не могут драконов.

Спит Ляля, светится в темноте, собственная своя страничка на сервере совершенно чужой Москвы, в однокомнатном хозяйском домене. Корáбель по́ морю идет, жура́вель по́ небу летит, а Бог, как известно, пиф-паф, не взирая ни на что, тем более без прописки. И дальняя, вроде бы, дорога, казенный дом, слепое пятно.

Ах вы, лялины сны, сны цветные, бубновые хлопоты по сказочному хозяйству. Ах ты, Ляля, Олечка, Золушка беспонтовая. Пикóвый интерес, слепое пятно. Но все равно - спокойной ночи. Спокойной ночи.

ГОТОВЬТЕ БИЛЕТКИ

А третий сын был, известное дело, дурак, и нарезное гладкоствольному сто очков вперед, что любой подтвердит. Двое старших - то, да сё, бабки, что-то там разгружали, загружали, торговля какая-то, настоящее ремесло плечистых настоящих мужиков, ящики, фуры, фрукты, бутылки, молодцы, в общем, родителям на старости утешение.

Третий ничего такого, на стариков плевать хотел, в армию не взяли по причине непоправимого плоскостопия. На диване целыми днями, узоры на обоях наизусть, потолок как хорошая актриса монолог Катерины в тысячу первый раз.

Нарезное гладкоствольному сто очков вперед.

Приходят к нему как-то старшие, ящики, говорят, фуры, фрукты, бутылки, то да сё, в общем, давай. Третий повернулся лицом к стене, плоскостопием к братьям, вроде спит, всё ему по барабану. Потормошили, потормошили, плюнули, развернулись, ушли, хрен бы с ним, дурак, чего возьмешь.

На обоях райские птицы, по перышку, подушка с обеих сторон горяча, одеяло шевелится как бы само по себе, на потолке трещины, в наше время даже косметический ремонт стоит ого-го, а деньги третьему, т.е. дураку на прокорм, хоть и небогатый, ему много не надо.

Нарезное гладкоствольному сто очков вперед.

В соседней комнате мать похрипывает, спит в кресле, голову уронив, стенокардия, не шутки. Отец на диване, “Спорт-Экспресс” и так далее детей вырастили, вот теперь пусть они и трудятся, ящики, фуры, фрукты, бутылки, то да сё. Телевизор вполголоса, мол секвестр, деноминация, молодым дорогу.

Третий спит, видит во сне Василису, вероятно, Прекрасную, сам он что-то типа Финист Ясный Сокол, ведет трамвай, впереди рельсы на тысячи миль до Западного побережья, где означенная девица горько плачет, ввергнутая в узилище за неуплату проезда, на линии работает контроль. Ладно, тут бы ему повстречать какого-либо волка, так нет, одни зайцы по третьим, ему дураку по праву предназначенным полкам.

Но нарезное гладкоствольному сто очков вперед.

Старшие трудятся в поте лица, то партнеры не волокут по понятиям, то отморозки заезжие базар не фильтруют. Разгрузка, погрузка, честное ремесло, крыше плати, налоги плати, палатку сноси, павильон ставь, в трудах и заботах все дни. Батоны, буханки в поте лица с соседнего хлебозавода, детей в муках от прилавков, чтоб не воровали.

Младший пасется, как по писаному, в лилиях, птицы небесные на обоях, то есть полный даждь нам днесь без зазрения совести. На потолке трещина, из окон дует, снаружи непогода, октябрь, ноябрь, декабрь. Мать в кресле хрипит, стенокардия, возраст. Отец “Спорт-Экспрессом” шуршит, пружины в диване стонут как бы от напряжения, новости воркуют, мы свое отработали, пусть дети теперь, зря что ли растили.

Нарезное гладкоствольному сто очков вперед.

Трамвай катится, одно только и знает, что третьему, т.е. дураку сниться. Добросовестное, американское отношение к работе, фронтиры приближается со скоростью нескольких сантиметров в месяц. Василиса Прекрасная хлебает баланду пополам со слезами, тут дурак наш решает погеройствовать, чего ранее с ним не случилось. “Вагоноуважаемый, - кричит, - глубокоуважаемый! Остановите, прошу Вас, сейчас вагон”. Трамвай в отличие от дурака дисциплину понимает и стоп.

Братцы, тем временем, являются к воротам узилища. От богатырского посвиста стены форта вспоминают Иерихон и падают от греха, а то вон одно такое здание до сих пор, как известно, не восстановлено. Девушка бросается к освободителям на шею, не знает как благодарить. Берут они, в конце концов, литр белого “Мартины”, ловят тачку и ищи, так сказать, ветра в поле, поехали развлекаться.

Но нарезное гладкоствольному сто очков вперед.

Третий-то дурак, дурак, а своего не упустит. Старшие прятаться не умеют, а дурак тридцать три года ото всех прятался, опыт, что называется, накоплен.

Как уж они оказались в том трамвае, одному Богу известно. Но на линии работает контроль, а они, ясное дело, зайцами без билетов, по местам для багажа, деньги растратили, к экономии не приучены. Тут дурак идет по вагону, настоящий добрый молодец, всех расшвыривает, через убиенных переступает.

А это братья его, как осиновые листья, и только девушка сразу на шею, спаси мол от извергов, тебя-то я, дурачок, всю жизнь и ждала, оказывается, а эти двое так, ошибка молодости. Тут третий возвращается в тамбур, как охотник выбегает театрально, прямо в зайчика стреляет, в одного, во второго, братья лежат бездыханные, красавица Василиса смотрит масляными глазами.

Так что нарезное гладкоствольному сто очков вперед. Свадьба соседям на зависть, внуки родителям занятие и радость на старости лет. Вот так, братцы покойные бились как рыбы, а денег не надывали. Третий был, понятное дело, дурак. Но с понятием.

Дом полная чаша, богатое приданое, акции одной фруктовой компании, удачная игра на бирже, к тому же две родные могилки под боком, прямо в палисаднике, ухоженные, чистые, а то бы старикам на кладбище через весь город, далеко.

Нарезное-то гладкоствольному реально ого-го, сто очков туда-сюда, вправо-влево, вперед-назад. Родители, понятно, ворчат всяко. Мы детей, мол, вырастили, что ж теперь самим-то на старости лет, пусть они. Но с внучатами нянькаются, в кино по субботам отпускают молодых или там в гости.

Те едут в пустом трамвае, рулить не нужно, гладкие на сто как минимум метров вперед рельсы, встречные машины мелькают, но трамвай идет прямо, никаких вправо-влево.

Потому как на собственном опыте третий, т.е. дурак, единственное усвоил ясно и совершенно твердо, т.е. по понятиям, что на линии - готовьте билетики - контроль, и стреляет без предупреждения. А нарезное гладкоствольному сами знаете сколько вперед очков, что любой зайчик и подтвердит охотно со временем, т.е. когда все там будем.

НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Асе не хочется ехать черт знает куда, на окраину города, к полужнакомым людям и неизвестно, между прочим, ждут ли ее там, дома ли хозяева, не лучше ли остаться дома и смотреть очередную серию - сначала "Закон Лос-Анджелеса", а потом - "Крутого Уокера", с Чаком Норрисом в главной роли.

И вот, Ася сидит на диване, свернувшись клубочком перед телевизором и смотрит очередную серию - сперва "Закон Лос-Анджелеса", про адвокатов, а потом - "Крутой Уокер" - про полицейских. На столике перед ней - стакан с соком из черной смородины от компании Wimm-Bill-Dann. В левой руке, между указательным и средним пальцем - сигарета Chesterfield, названная в честь не то графа, не то лорда, Бог весть. Странные люди. Табачные промышленники. Адвокаты. Их секретарши. Окружные прокуроры. Техасские рейнджеры. Разная другая публика.

Ночные новости по НТВ - в полночь. Потом какая-то ерунда, народное телевидение. Уваров бы от такого понимания народности, скорее всего, долго, мучительно блевал. В туалете Зимнего Дворца. Или на заднем дворе собственной усадьбы. В окружении изумленных домочадцев, крестьян, собак, детей.

- Да, мы вас слушаем, вы в эфире.

- В эфире? Меня зовут Катя. Я хочу сказать вам, что...

- Спасибо, спасибо Вам, Катя, за Вашу интересную новость. А мы продолжаем нашу передачу.

Асе не хочется ехать черт знает куда, на окраину города, а возможно и вообще за его черту, у нормальных людей совпадающую с Кольцевой дорогой. Поздно, Ася устала, ее пугает мысль о том, что утром придется ехать по июльской жаре домой. Мальчики будут гордо похмеляться водкой с солью, жены будут мальчиков мужей своих терзать, упрекать. Чужое полотенце в чужой ванной будет старательно отворачиваться, придется натягивать вчерашнюю (еще сегодняшнюю) одежду на мокрое тело. Ехать по июльской жаре домой в автобусе, потом на метро и снова в автобусе, а Ася устала, завтра на работу.

- Спасибо, Ася, что вы нам позвонили. Правда, спасибо. А то нам так одиноко тут, в студии. Вы не езжайте никуда, Ася. Поздно уже. Давайте лучше поболтаем. Так, знаете ли, не хочется продолжать передачу. И программный директор спит. Ну его к ебене фене, этот прямой эфир. Вы только не уезжайте, Ася. Криминогенная обстановка в нашем городе все еще менее благоприятна, чем хотелось бы. Мы за Вас беспокоимся. Не отключайтесь, пожалуйста. А у нас еще один звонок.

Ася едет в автобусе. Денег на машину нет, к тому же, сами понимаете, первый час ночи. Автобус полупустой, сонная публика, кто куда, спасибо пришел быстро. Жетончик, когда опускаешь его в щель турникета, светится неожиданно синим, недолго. Поезда нет уже четыре минуты, значит скоро придет. Одна пересадка, на Кольце пахнет мочой, дальней дорогой, казенным домом, сумками. Ася старается не ездить через Кольцо, не любит. Ночью особенно неприятно, страшно как-то на Кольце.

- Зачем же Вы уехали, Ася? Ведь народное телевидение предупреждало Вас об опасностях, предостерегало, говорило, что путь будет трудным и долгим. И неизвестно, какая награда ждет Вас, Ася, в конце всего.

Ася смотрит на схему, дремлет, договаривает до конца прерванные по обстоятельствам разговоры - вчерашние или трехгодичной давности. У Аси все внутри живет, она помнит как никто. Ася отражается в поцарапанном темном стекле с надписью "Места для пассажиров с детьми и инвалидов". Пора выходить, это ее станция, разговор придется отложить снова.

Ася выходит и, на этот раз долго, ждет автобуса, маршрутки уже не ходят, место незнакомое, далеко, черт знает где, окраина города, а возвращаться поздно. Наконец автобус приезжает, светится изнутри, небольшой, желтый. Трехзначный перекосившийся номер в правом нижнем углу, на лобовом стекле.

Ночью автобус едет быстро. Будет дождь, ветер усиливается, деревья шумят, когда на остановках открываются ненадолго двери. Асе почти до конечной. Водитель не объявляет, не везде останавливается, но Ася помнит.

Асе неприятно и страшно, что будет дождь. Автобус разворачивается, останавливается. Вокруг стоят такие же или похожие, но уже неживые, с погасшими окнами. Ася выходит и быстро, не оборачиваясь идет по грязному, едва освещенному проспекту, прямо по мостовой. Везде новостройки, глина по колено. Подъемные краны напоминают не то рыбы скелеты торчком, не то полужнакомых каких-то старых знакомых позами, выражением лица. Непонятно чем.

Ася заходит в подъезд, поднимается по лестнице, третий этаж. Открывает дверь, бросает рюкзак на стул, стаскивает кроссовки. Проходит в комнату, зажигает свет, расстегивает джинсы, снимает майку через голову. Майка летит на пол. Джинсы расстаются с Асиным телом не так легко, продолжают цепляться за нее, прижимать к себе, уткнувшись лицом Асе в пах.

Он подходит к ней, обнимает. Долго стоят возле журнального столика, раскачиваясь. Потом он резко, больно вгоняет в Асю член, ритм меняется. В дальнем углу работает народное телевидение, одна картинка. Звук выключен, на улице срабатывает автомобильная сигнализация, из крана капает вода. Ася смотрит на экран через плечо. Не надо было никуда ехать, думает Ася, на окраину города, черт знает куда. Дура, какая дура, скорее бы он кончил, как они иногда долго, когда не надо.

Где же ты, Уокер, тexasский рейнджер? Где же ты, народное телевидение? Для чего ты оставило меня? Ведущие твои - что лилии между тернами. Декорации в студии твоей - кедры и кипарисы. Ложь наше - зелень.

Встану же я, поеду к станции ВДНХ Калужско-Рижской линии, пойду по ул. Аргунова мимо Останкинских прудов и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его, и не нашла его.

Не смотрите на меня, что я смугла: ибо электронно-лучевая трубка опалила меня: режиссеры программ моих разгневались на меня, поставили меня стеречь вечерние выпуски новостей.

Не убоюсь снега и шума в ночи, технических перерывов днем.

Только смотреть буду очами своими и видеть возмездие нечестивым.

С НОВЫМ ГОДОМ, ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ

Записываю: я, второй из нас, несколько дней назад рассорился с В. И не в том уже возрасте, чтобы постоянно думать, кому что не так. Мне, во всяком случае, никто скидок не делает. Во вторник приезжала Ю., в четверг - Т. И вскоре переезд. Долго не мог прийти в себя после. Радовался, когда I. рассказала о. Трудно, что холодает. День выдался, в отличие от завтрашнего, удачный, но пропустил. А проездной пока работает. Настроение было приподнятым некоторое время после того как. И т.д.

Пока дело ограничивается белыми лабораторными мышами, можно расслабленно себя вести и не загружаться проблемами нравственности. Но предстоят всё равно клинические испытания с применением плацебо. Вот пациент говорит: “я”; а еще: “у меня болит то-то и то-то”. Его бы тут подвести к зеркалу, спросить, узнаёт ли. А то непонятно, кого лечить. Их же там много, человек десять-пятнадцать сидят по каютам со звуконепроходимыми перегородками, по отсекам. У кого болит, что болит? Поди разбери.

И вот, эти десять-пятнадцать занимаются членовредительством - обоюдоострым. Если тело разрезать, это хорошо видно - там такой слипшийся мясной комок, все порезано, кровяца хлещет туда-сюда. Когда наружу работают - методы более тонкие. Душа там, жизнь удалась - не удалась, все дела. А внутри чего стесняться?

*

Ну, и еще. Время от времени речь о “любви” и тому подобных вещах. Примерно в той же тональности, что у Сержа Гинзбур с Джейн Биркин, женщиной его жизни. Т.е. с придыханиями иногда, а так - вообще говоря - сдержанно и немного грустно. Сдержанно и со вкусом. Годится для уважающих себя молодых людей. Для прогрессивно мыслящих, двадцати пяти лет от роду разочарованных интеллектуалов конца девяностых. Без лишних, что называется, сентиментальных соплей.

Гинзбур и Биркин. Бэтмэн и Робин. DJ Dadoo и X-files. А Истина где-то там [out there], с чем никогда не согласился бы Ричард Рорти в переводе Хестанова и Хестановой, издание Русского Феноменологического Общества. С Новым Годом!

*

И запятые, кстати, отделяющие одну неудачную дефиницию от другой загогулилки, тут тоже, скорее всего, не светит. Потому что их существенно больше. Ни в сказке сказать, ни пером описать и т.д. и т.п. А если же, напротив, не препинаться по пустякам ни с самим собой ни, тем более, с кем-либо еще? А тогда не стоит, что называется, затеваться. Загляни в пунктуационные таблицы.

А в том, что касается относительности пространства и времени, релятивизм имеет фору хрен знает сколько очков. Мы на это сами пошли, по своей воле, в здравом как бы уме и твердой памяти, подписав себе пожизненное завещание и полный отказ.

По телевидению, некстати сказать, всё внове и быстро, перед его, телевидения, эпохи, концом. “Мертвец” Джармуша. Модный “Триумф воли” от дамочки Рифеншталь. В межпрограммном пространстве - государственной серьезности заставки от новоиспеченных почитателей Тургенева в плане фон Хайека и постмодернизма. Музыка под Райха. Морской котик под дедушку Дурова. Настоящее Наше Новое Наше Всё.

Сенсация на рынке наручных часов: золотой, украшенный бриллиантами хронометр Patek Philippe, снабженный функцией обратной перемотки.

*

Вообще, чему это нас всё научило? Научило нас ничему не верить. В особенности - самому очевидному и грамотно доказанному. Маскировка таким образом развилась - как у хамелеонов. Только круче в сто и более раз. Если ответ нам сразу приходит в голову, делаем вид долгого размышления. Чтобы другие, так же точно мыслящие, выводов не делали себе, скороспелых и верных. Как только ловим себя на естественных реакциях, делаем ровно наоборот. Чтобы другие вышепоименованные лишнего чего про нас не узнали.

Таблица умножения подозрительна, поскольку ответ приходит автоматически неизвестно откуда. Рефлекс глазом моргнуть при виде кулака или мухи - подозрителен вдвойне и втройне. Кулак-то самый обычный, о мухе не говоря. Так откуда же произвольная реакция, спрашивается? А? Тут что-то явно не так. Явно. Привычка чистить зубы должна настораживать тоже. Как типичный случай obsessions, навязчивого действия.

*

За окном, на Юных Ленинцев ул., третий день взрывается что-то. Утром, наступая на первые десять тротуара см², веду себя осторожно телом. А если это повстанцы? Или даже, возможно, Бог? В Москве глаз Одина, впрочем, зимой закрыт. Не Калифорния, не тепло.

Юноши наши девушкам дают огромную фору. По части хрупкости, нежности и т.д. У меня в рукаве четыре карты Таро. Меня мучает взрослый утренний кашель, насморк. Всё бы иначе, если бы немного теплее. “Жив, жив курилка”, - говорили дети, передавая друг другу своего маленького братика на руки с предыдущих рук. История грустная. Но полезная - в плане дидактики. Если кто понимает, о чём, собственно, речь.

*

Дорогой дневник!

Я давно хотел сказать тебе одну очень-очень важную вещь. Видишь ли, дело в том, что... Э-э... Ну, в общем, как бы это сказать. Я всё никак не решался. Но знаешь. По-моему.

Ч-черт. Ладно, в другой раз.

*

Я ждал тебя совсем в другом месте, у дверей другого дома. Зрение поймало меня в хрустящую мышеловку - деревянную, грязную перепачканную жиром и кровью. Ночью положено спать, а не пить из-под крана жадно холодную рукотворную воду. Я ждал тебя, смотрел на другие часы, другой город свисал из бесформенного советского неба.

Это вполне годится для нас, плохо одетых, неплохо зарабатывающих интеллектуалов, год выпуска 1997-й. Срок хранения, expiry date: смотри на изнанке. Никаких соплей с сахаром и DJ Dadoo. Истина еще здесь, вранье уже где-то там. Грейс во сне. Я спускаюсь в метро, пора на работу, пока, до встречи, до вечера, до неизвестно, обычное дело, чего.

*

Страх, стыд, что снова по утрам будет светло. Я лучше попробую это опять. Надевать бесконтактные, мягкие линзы, о которых нужно заботиться - ничуть не меньше, чем о кошке, о каком-нибудь домашнем зверьке. Открытый массаж простаты. Дерьмо.

Пора, кажется, сниматься с места. Судя по взрывам, Юго-Восточный Округ постепенно занимают повстанцы. Неужели история нас ничему и не научила так? Скоро - как поет один из кумиров недолгой юности - скоро маятник качнется в нужную сторону. И времени больше не будет. И насморка не будет.

Записываю: я, первый из нас, несколько дней, во вторник назад, побывал на Дне Рождения О. Разговаривал с девушкой Л. о феминизме и др. В четверг приезжала С. В пятницу вернулся с работы раньше, чем ожидал. Милейшая красивая М., директор, отпустила меня с полдня. Несколько тому дней наконец она помирилась со своим молоденьким симпатичным мужем. К подчиненным относится хорошо. Доверяет мне: впрочем не без причин. Работаю дома. Позволяет пентимум, купленный на отцовские деньги.

*

На Юных Ленинцев ул. каждые десять примерно см. квадратных, падает снег. Я ждал тебя в другом месте, в другое время. Я смотрел на часы - пока молчали слова. Это годится для нас, разочарованных, разгадавших кроссворды. Мы разбили безжалостно цветные очки в итальянской оправе. Теперь носим бесконтактные линзы от Vaush&Lomb. Приглашаем себя в гости друг друга и третьих прочих.

Так что? Чему это всё нас научило? Не верь, не бойся, не проси. Не препинайся по пустыкам с собою самим, а наипаче с другими. Не высывайся. Лишних запятых избегай. Делай вид, что двоеточий не существует. Держи тире хорошо заточенными, а скобки - сухими. Многоточия ликвидируются посредством тривиального геноцида.

Гинзбур и Биркин. Малдер и Скалли. Всё искали, ничего не нашли. Открытый массаж простаты. Сопли с сахаром. Чтобы было намазать на Dunkin Donats, DJ Dadoo. Музыка под Райха, котик морской. Не верь: не бойся, т.е. - не проси. Дают - бери, бьют - беги. В руки берется, назад не отдается. Кавычки, точка, огуречик. Вот и вышел человечек.

Записываю: Вот и вышел человечек. Ну, и т.д., с Новым Годом, желаю счастья и прочая и прочая.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ДАУГАВУ

... тогда твой канцер - тоска.

Ч.Экман. Происшествия у воды.

Начиналось с уроков, когда бросали монетку. У доски стояла полная низенькая дама. Шутила. Зло и от трудного, не совсем, видимо, удавшегося существования. Ее любили. Не за что было. Но любили. Как всегда в таких случаях. Как с собаками, скажем. Повторялось два раза в неделю.

Потом в прилежащем парке сидели на скамейках. Сидели, жевали друг другу губы. По вечерам. Когда солнце на убыль. Зимой всё засыпало снегом. На радость тетечкам и дядечкам, растерянно озиравшимся. Постоянно в страхе потерять из виду свою переводчицу и автобус.

Некоторые скамейки прятались укромно. Другие - наоборот. В самом центре, у памятника, бесстыдно раздвинув кривые ножки. Икарусы, ЛИАЗы, автобусы. По одним маршрутам не приходили часто. По другим редко не приходили. Захочешь подождать подольше. Вдруг кто покажется, спустится по ступенькам. А он, с запотевшими стеклами, тут как тут. Корявым детским почерком, карандашом исписанный изнутри.

... Лайма вглядывалась, прищурившись, в циферблат, застывший почти на самом верху. Почти на самом верху левой башенки. Стилль вампир, как кто-то давно пошутил. Однажды Лайма жила там, под башенкой. Скромно одетая горгулья с книгой в руках все норовила заглянуть к Лайме в окно. Но со времен ареста основного вампира в комнате уцелели черные шторы. Чуть ли не бархатные. Вполне безжалостные к наружному миру. Что и спасло Лайму однажды. Когда она жила под башенкой, без холодильника и телевизора. Когда рассвело.

Они все тащили Лайму, как правило, на скамеечки первого рода. Где зелень, сирень. Дриады, похожие на белочек. Только Лайма знала правду. Что это были, на самом деле, дриады. Опасные, злобные существа. Острые зубки, вшивый свалывшийся мех. И еще там жили собаки. Однажды Борис наткнулся на них. Решил пройти напрямую. Тот еще вышел shortcut. Они лаяли и смотрели на него, он побежал. Остановился только в вестибюле. Прислонился к старым, тяжелым дверям. Рядом худенькая девушка с руки кормила пластмассовой монеткой телефон-автомат. Долго не мог отдышаться, и сердце билось.

Лайма не понимала. Не любила, когда они начинали жевать ей губы. И никогда сама не делала этого для них. Когда утром она подходила к небольшому, с отколотым краем зеркалу, единственное, что видела на своем лице, были губы. Синеватые. Автоматически прихватывавшие сигарету из протянутой раскрытой пачки. Иногда искусанные.

А она всегда сидела на открытых скамеечках. Выползала весной на солнышко как полёвка, сушила шерстку. Выползала беседовать с пивом из легкой, шумной потом жестянки. Борис тоже обычно молчал. Сидел, прикрыв глаза. Мимо них проходило много народу. Особенно утром, торопились успеть, бежали от остановки. Некоторые кричали: “Привет, Борис!”, махали руками. С Лаймой почти никто не здоровался. Ее не очень-то любили. Разве что пиво. С пивом все получалось просто отлично. И это значило для нее гораздо больше, чем простая любезность. Гораздо больше.

Борис обычно уходил по своим делам. Лайма не была к нему несправедлива, разве что редко. Совсем чуть-чуть чаще, чем никогда. Не о чем говорить. Просто он жил в императиве. А она - в индикативе. Как большинство женщин вообще. Всё остальное было каким-то непонятым расхлябанным конъюнктивом. Чем-то едва заметно суетящимся в стороне от жизни. Серая дождливая каша. Деревья, здания. Люди в них. Люди на улице. Город. Все остальное. Просто все остальное.

- Послушай. Я хочу, чтобы было истинным высказывание: “Ты меня слышишь”. Послушай. Слышишь?

Лайме иногда приходило в голову, что можно было остаться. Там, где выросла. В двух кварталах от Меже-парка. Или в Елгаве, где у дяди Бруно был дом. Родители развелись, как только она закончила школу. Тихо, без видимого отвращения. Время неплохо знает свое дело.

Они всегда об этом мечтали, особенно мама. Лайма росла медленно, часто болела. А потом, наконец, стала взрослой. Самостоятельной. Но опоздала. Для новой жизни им стало поздно. Вовремя оказалось только разъехаться, развестись. Перестать поздравлять друг друга по праздникам, с днем рождения, Рождеством.

А Лайма, взрослая дочь, села на поезд. И поехала туда же, куда ее бабушку с дедом увозили раньше без спроса. В сороковом, в июне. Лайма про себя решила сама. Просто времена изменились. Можно было остаться. Вот, собственно говоря, и вся разница. Не так уж много.

- Послушай. Не спи. Я хочу, чтобы было истинным высказывание: “Ты меня слышишь”. Послушай. Слышишь?

Все равно глаза не открою. Солнце. Леня повернуть голову, показать, что слышу, конечно слышу. Все равно это игра. Каждый раз одна и та же.

Лайма пропускает ход.

Жестянка в руках Бориса издает несколько резких щелчков. Затем послушно образует бесформенный угол. Принимает униженную позу. Сгибается наподобие официанта, принимающего заказ у богатых клиентов.

- Нельзя пропускать ход. Так нечестно.

Жестянка щелкает последний раз. Замолкает, приземлившись на асфальте у самой урны. Лайма лениво поворачивает голову. Но глаз не открывает. Веки опущены. Лайме все равно, что нечестно. Они вчера поссорились. Не пошли в кино, остались дома. Он лег спать. Отвернулся к стенке. А это способ просить прощения. Спасибо. Спасибо, что в ход пущена всего лишь модальная логика. Сравнительно безобидная. А не психоанализ по Джорджу Салливену и Мелани Клейн.

Борис придвигается ближе. Берет Лайму за руку. Раз в месяц все женщины бывают колючими. Лайма тоже. Тогда Борису приходится быть осторожным. Крайне внимательным. Приходится следить за собой. Потому что в такие дни она как кухонный нож. Самозатачивающийся. С иззубренным лезвием. С черной, шершавящей ладонь рукоятью.

Ключица, коленная чашечка. Теплая, слепая мордашка эрегированного соска. Каждым кусочком можно пораниться. Порезаться до костей, до мяса. Поэтому приходится вести себя осторожно. Очень осторожно со всем этим. С каждой ресницей, с краешком века, каждого из обоих. Пчелиные иглы жалящих волосков неподалеку запястья. Осторожно, как можно осторожнее со всеми восемью остриями. Хищный аусеклис. Сработанный очередным неродившимся щенком человека, мелко мстительным за упущенную возможность. Склеенный из бритвенных крошащихся лезвий. Из осколков стекла. Аусеклис, который и есть Лайма. Иногда. Несколько дней, всего несколько дней, слава Богу.

Лайма отнимает руку. Мягко, медленно. Не обидно. Отнимает, предварительно надышав ему в ладонь несколько слов. На потом. До лучших, как говорится, времен. Если он порежется и на этот раз, их кровь может смешаться. Где-нибудь в общей ванной. Или в постели. На которой удивительно неудобно заниматься любовью. На которой ничего неудобно. Как и везде.

Нужно было остаться, да?

Так они просят прощения друг у друга здесь. В пределах видимости памятника. Давний изобретатель цветных стекляшек. Самородок. Чуть ли не из лопарей, эскимосов. Так бы и шкерил матросом рыбу. До старости лет. Вот только сон об отце. Вот только стекляшки цветные.

Член у памятника похож на морской гребешок. На привилегированный голландский тюльпан из цековской клумбы. Под собственной тяжестью опустивший бутон ближе к земле. К почве, прихваченной заморозками, последними в этом году, в этот раз.

Просят прощения. Крутят шаткий столик в прозрачной, заполненной сквозняками кофейне. На втором этаже десятой столовой, неподалеку от биофака. Лайма, у которой нестерпимо болит низ живота, вызывает духов и задает вопросы. Каверзные, короткие, злые. Сложные, какими завуч начальных классов, Велта Сникере, крашенная блондинка, мучила ее самоё у доски в детстве. Мура грозит сделать одной левой. И так доказать, что последняя отличается от правой и твердой. Обзывает скромного школьного учителя математики пидором и, почему-то, нацистом. Говорит, что, кстати об этике, место таким, несомненно, в Геенне. В аду. Где айзсарги в строгих черных мундирах будут поджаривать их на удобной, тефлоновой сковородке. Так что не пригорят. Но пожалеют, что родились на свет.

Борис сидит рядом, накрыв ладонью маленький, крепко сжатый кулачок. Кулачок Лаймы. Сжатый так крепко и зло, что побелели костяшки. Борис глядит перед собой. Со стороны кажется, что он рассматривает бесформенный, толстый стакан с остатками двойного, чересчур сладкого кофе.

Борис думает о том, что хорошо бы в субботу сходить в кино. Сводить Лайму на фильм режиссера Анджея Вайды. О вполне симпатичном, уважаемом человеке мужчине лет сорока. А может быть, сорока пяти. С небольшим. О том, как неожиданно, неизвестно с какой радости, жена ушла от него к другому. Как ему рвали разболевшийся зуб без наркоза. Она любит кино. Радует его как ребенок. Или собака. Долго бывает благодарна. Даже если последний ряд и никакого тебе попкорна. Никакой кока-колы.

Лайма. Амулет для близких друзей. Хранительница общежитского, на одиннадцати метрах, казенного очага. Лайма. Маленькое, колкое веретенце. Которым кое-кому еще предстоит со временем уколоться. Со временем. Когда эта скандальная, истеричная женщина, сестра и двойник, попытается выйти наружу. Наружу, из тела ее Бориса. Из аккуратного тела ее Бориса, сквозь кожу. Уколется, когда полезет наружу. Когда попытается заползти в ее, Лаймы, набухшую, хлюпающую рану. Уколется и заснет. По возможности, навсегда.

Юркая, худая латышка. Умудрившаяся даже не слишком свежие простыни. Не слишком свежие простыни на кровати Бориса в первую ночь. В правой комнате блока, освобожденной временно от ученого, обстоятельного соседа. Даже не слишком свежие простыни умудрившаяся в цвета. В медицинские, тяжелые, больные цвета. В два цвета ее, Лаймы, маленького крестьянского государства. Маленького, притулившегося смущенно в самом углу. В восточном, дальнем углу того, что называлось Европой.

Даже простыни. *Mieza mate*. Едва совершеннолетняя любимая дочь Харпа. Светлого как песок. *Mieza mate*. Неверная любовница Гиннесса. Принца в черном мундире. Айзсарга. Легионера маленькой, но великой Латвии. Законная супруга Килкенни. Красного латышского стрелка, голодранца. Милда. Лайма. Эгле. Королева ужей.

Началось с уроков, когда бросали монетку. Серебряный лат. Но все перепуталось. Грузный, одутловатый профиль. Серебряный. Ульманис. Советский гарнизон в Лиепаве. Букет красных, белых гвоздик. Июнь, двадцатое, сороковой.

Их увезли. Увезли летом, утром. Милда видела закат тысячи раз. Ни разу не обернулась. Ни разу не глянула, как начинается каждый день. Хотя бы одним глазком. Сука. Вонючая болотная шляха. Сука, сука высокая у самого неба. Ни разу не обернулась. Ни разу на молодое солнце. Хоть бы одним глазком, слышишь, сука. Хоть бы украдкой. Когда их увозили, с утра. Хоть раз в жизни. Сука, Лилит, металлическая дриада.

Да, думает Лайма. Да, нужно было вернуться. Взять два больших двойных сразу. Чтобы не стоять лишней раз в очереди. Это все дриады. Острые зубки. Шерстка кишит вшами. Маленькими и проворными. Как Ума Термен. Мускулистыми и подтянутыми. Как Слай.

Нужно было вернуться, думает про себя Борис, да. Я просто хочу, чтобы истинным было высказывание: “Ты меня слышишь”. Не обязательно даже, чтобы истиной были именно эти мои слова. Хотя они и представляются мне наиболее точными и простыми из всех. Из всех, что я знаю. Но ты можешь выбрать, любые другие. Другие. Те, что по вкусу тебе. И никому больше.

Хочу найти любые несколько слов. Любые, которые не давали бы метастаз и побочных эффектов. Просто потому, что мой канцер, как сказала одна скуластая шведка - тоска.

Лайма обнимает его одной рукой. Осторожно подставляет губы для поцелуя. Второй рукой нашаривает на дне рюкзака пачку красного “Голуза” и зажигалку.

Это, само собой, плагиат - по крайней мере, отчасти. Не совсем, разумеется, честно. Но ей плевать. Русские слова все одного цвета. Скоро Борис допишет книгу. Они переедут в квартиру. Для начала снимут однокомнатную, попроще. Потом двухкомнатную, поженятся, заведут детей. Зря он переживает. Канцер - хороший знак. Все окажется правдой.

- Расскажи мне.

- Про что?

- Про Джона Ячменное Зерно.

- Он умер, *mieza mate*. А потом воскрес.

- *Es milu te*. Ты об этом знаешь?

- Знаю. Но и ты знаешь. Мы оба знаем, что это все лажа не совсем чистой воды. Потная ёбаная ничья с сухим счетом и мокрыми простынями. Замаранными смесью наших секретов. Резко пахнущих. Твоей и моей. Обеими сразу.

- *Es milu te*. Я люблю тебя. Но сейчас отъебись. И купи мне бутылку пива. Любого. Ну давай, давай, *dam' it*, пошевеливайся. Тоже мне, любовничек хуев. Сколько я, по твоему, должна ждать, пока ты раскачаешься?

Лайма целует его. Затем отстраняется, чтобы прикурить сигарету. И снова не успеваает, в который уже раз опять пропускает ход.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ В СВЕТЕ ГЕНДЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО РОМАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

(КИНОСЦЕНАРИЙ)

Как должна начинаться История Любви? В полном смысле Любви, Со Всех Больших Букв, как должна начинаться Ее история?

Ну ладно, он, она, оно, гендерные прибабасы. Она - блондинка, Элен, но несчастна. Он - красивый умный, Гордон, но предпочитает мальчиков, а если девочек, то в возрасте до двенадцати лет включительно, с худенькой попкой. Старший сын, эдипов комплекс в полный рост, властная мать, слова поперек не скажи, отец ужинает в одиночестве, в кабинете наверху, с перекошенным лицом ужинает (почему-то в восемь часов утра ужинает, странные манеры). В наследство от отца получил бизнес - фирму по торговле кукурузным маслом и аппаратами для изготовления попкорна. Ведет дело с нескрываемым отвращением и только ради денег. Втайне пишет романы и принимает героин. В подражание Томасу Вулфу пользуется только карандашами. Мечтает о славе Уильяма Берроуза и физической силе великих русских писателей. Из последних может назвать непримиримого борца с наполеоновским коммунизмом Лео Солженицына. В ответ на вопрос о том, какая книга оказала наиболее сильное влияние на формирование его как литератора, называет "Повесть о двух породах" Чарльза Дарвиннса.

У нее другие проблемы. Росла без родителей. Без настоящих. Но с приемными. Приемные ее били и всячески унижали вплоть до самого ужасного и непристойного. Сильно плакала, когда впервые, двадцати двух лет от роду, прочла сказку о Золушке. Когда прочла про Дюймовочку и Крота, нашла столько параллелей с собственной судьбой, что долго болела неизвестной болезнью. От болезни развилась амнезия. С тех пор б/к и сравнительно б/п (кроме жилищных и материальных), но мучается отсутствием прошлого. Мечтает разыскать родителей. Характер неустойчивый. Инфантильна. Отмечается определенная склонность к политическому экстремизму, сциентизму и сливочному маслу с пониженным содержанием холестерина. Активистка местного отделения Демократической Партии. Предана идеалам Томаса Джефферсона, но в медальоне носит портрет Эммы Голдштейн, вероятно полагая, что это портрет ее матери.

Оно - слепая разрушительная сила, не дающая соединиться двум любящим сердцам. Придерживается марксистских взглядов, сочувствует тред-юнионам и ААР. Выучило русский, чтобы читать "Капитал" в подлиннике. Фрейда предпочитает Юнгу. Адлера и Ранка анафематствует каждый вечер, перед сном.

Неудачи с женщинами и довлеющий в бессознательном архетип Ужасной Матери заставили Гордона, в конце концов, переключиться на нимфеток и мальчиков.

Элен вынуждена сублимировать нерастраченную сексуальную энергию в борьбу за political correctness и собирание собственного прошлого.

Оно, при каждом удобном случае, смотрит на очередного просителя поверх очков, бесполезных ввиду полной и неизлечимой слепоты. Затем, назидательно подняв палец, высказывается в том смысле, что мол, либидо - дело серьезное, величайшее из доступных нам наслаждений и пусть сначала заслужат страданиями. Ангелы-хранители выходят из кабинета, затаив недоброе, скрипя зубами. Тем не менее, всем своим видом оба выказывают уважительное отношение к старшему по званию. Потому что прибавка к зарплате и продвижение по службе - это вещи, которыми просто так не бросаются.

Итак, Гордон целыми днями трудится, не покладая рук, клерком в конторе. А по ночам пишет свою книгу.

- Нет, стоп. Он же унаследовал бизнес отца. Какая контора?

- Ну хорошо, ладно, унаследовал, но быстро охуел и подстроил все так, будто бы компаньон его обманом разорил и выгнал на улицу.

- Точно. А мать его на порог не пустила.

- Не пустила. Только бросила в спину: “Неудачник!”. Для ее отца, шерифа небольшого приграничного городка в Техасе, это слово было самым страшным ругательством.

Ладно, поехали дальше. По ночам, в отеле, в нищенской клетушке, где из мебели - койка с панцирной сеткой, одеяло с надписью “US Army” и колченогий стол, - там он по ночам пишет свою книгу. Тусклый электрический свет, тараканы, проститутки, черные рэпперы с финками, приросшими к ладоням. Сквоттеры устраивают беспорядки в соседнем квартале, поджигают “Челси”, соседний отель, тоже пользующийся дурной славой. Книга почти готова.

Но тут приходит известие о смерти матери. Гордон напивается до чертиков и слоняется по коридорам, стучась во все двери подряд. Одна дверь открывается, Его втаскивают в номер. “Ну всё, пиздец мне пришел.” - думает он, готовясь к самому худшему.

Ничего подобного. Это русский писатель, широкая отзывчивая душа. Видит - хуево мужику. Того и гляди в петлю полезет. Так чего ж не помочь, спрашивается? Наш герой радуется как ребенок.

Настоящий русский писатель? Нет, правда? Потрясающе! Всю жизнь мечтал познакомиться с русским писателем. Очень приятно, Бóрис. А я - Гордон из клана гордонов, писатель. Мамаша моя скончалась, вот и пью. Да ладно, хуй бы с ними со всеми. Ты мне вот что скажи. Скоро ли гестапо выпустит из своих застенков Лео Солженицына? Мы тут письма какие-то подписывали, всем отелем - и бляди, и сквоттеры и рэппер даже один - и тот крестик поставил. А вашим что, по барабану это все, что ли?

Гордон продолжает надираться - теперь уже не один, а с настоящим русским писателем. Кто-то из них первый лезет трахаться. Хрен теперь разберешь. Выпивка так объединяет людей, что невозможно понять, кто где. Но вернемся к Элен, к нашей белокурой героине.

Пока Гордон пишет свою книгу и дружит с настоящим русским писателем Бóрисом, Элен воплощает в жизнь идеалы Томаса Джефферсона, защищает права женщин, сексуальных меньшинств, черных рэпперов и разномастных сквоттеров. Возбуждаются многочисленные уголовные и гражданские дела, подаются петиции, работа кипит. Но глубоко в сердце девушки живет тревога, которую не заглушить деятельностью на благо общества. Однажды вечером, когда тоска по потерянному прошлому становится невыносимой, она собирает чемоданы и, послав ко всем чертям завтрашнее заседание Лиги Гражданских Свобод, отправляется в Нью-Йорк, где надеется отыскать собственные следы.

В безуспешных поисках проходит полгода. Медальон с портретом Эммы Голдштейн, которую Элен принимает за свою мать, согревает ее тело долгими зимними вечерами в мансарде на Лонг-Айленде. 16 декабря ... года Элен, утомившись долгим воздержанием, приводит к себе домой местного активиста ААР, работающего посыльным на одной из фабрик СиСи Кэпвелла. В порыве страсти молодой активист срывает с Элен одежду. Она стоит перед ним обнаженная, дрожа от холода и желания. Он набрасывается на нее, покрывает поцелуями. Элен чувствует, как обжигающая волна страсти затопляет ее, проникая глубоко, до самой сердцевины, где таятся, впав до поры в кому, драгоценные воспоминания детства.

Все существо Элен тянется к молодому активисту Джону, раскрывается навстречу его спокойной уверенности и силе. Она неистово ласкает его загорелый, пахнувший летним морем торс. “Ты - цветок мэйхуа.” - шепчет Джон. “Прекрасен ты, возлюбленный мой, - продолжает Элен, - и пятна нет на тебе.” Он наклоняется над ее золотистым, полнокровным как у деревенских мадонн художницы Зинаиды Серебряковой, телом. Его тонкие жемчужные нити спадают на девственную грудь. “Не торопись, любимый,” - шепчет Элен. Наконец, ее ступка для благовоний принимает его нефритовый пест, и любовники сливаются в экстатическом порыве.

Наутро, одеваясь, Джон замечает медальон. Воспользовавшись тем, что Элен хлопочет на кухне, он раскрывает медальон. В этот момент заходит Элен. Она в смятении вырывает медальон из рук Джона. Молодой активист удивлен. Ведь это всего лишь Эмма Голдштейн. Чего тут такого особенного? Вот он, Джон носит, например, в бумажнике фотографию, на которой Ленин и Маркузе сидят, обнявшись, на скамеечке в парке “Горки”. Элен бросается Джону на грудь и, рыдая, рассказывает свою историю. Что делать теперь? Теперь, когда разорвана последняя ниточка, потеряна последняя надежда найти правду?

Джон на минуту задумывается. Перед его внутренним взором проходит детство - отцовская плантация в Луизиане, дородные негритянки на поле. Июльская жара. Протяжные заунывные *gospels* и *spirituals* воскресных служб в методистской церкви. Старенькая ласковая няня Айрин, каждый вечер приносившая ему кружку с яблочным сидром, веселящим сердце...

“Понимаешь, - говорит Джон, - я думаю, что человек без воспоминаний - это не человек. Я не могу остаться с тобой после того, что узнал. Прости. Вот, кстати, моя визитная карточка. Если ты когда-нибудь вспомнишь, кто ты, позвони мне.”

Молодой активист, помедлив еще минуту, поворачивается и уходит. Элен стоит посреди комнаты. Почти ослепленная слезами, она, все еще не веря в случившееся, смотрит на визитную карточку. “Джон Рид. Журналист. Писатель. Друг Ленина.” - мелкие черные буквы расплываются на плотной шершавой бумаге. Элен понимает, что Джон обманул ее, выдав себя за другого, а настоящий Джон, посыльный на фабрике СиСи Кэпвелла, давно умер от тифа в далекой России и похоронен у Кремлевской Стены вместе с женой и обслуживающим персоналом.

В каком-то ватном отупении от пережитого, Элен медленно одевается и выходит на улицу. По мостовой проносятся, обдавая прохожих грязью, кэбы, моросит мелкий дождь. Элен бредет наугад по улицам беспощадного великого города, так талантливо описанного Джоном Дос-Пасосом, Шервудом Андерсоном и многими другими.

А в это время Гордон со своим приятелем, русским писателем Бóрисом, пытаются наскрести хоть немного денег на косячок со шмалью. “Дерьмо ты собачье, а не русский писатель!” - упрекает Гордон своего друга. “Ну не пизди, не пизди ты, ради Бога... - устало отвечает Бóрис, - И хуйли тебе эта шмаль далась беспонтовая? Связался я с тобой, мудаком, на свою задницу... Еще, чего доброго, старух начнешь мочить, как рэпперы эти ебанутые, за четвертак.” “Ну и что, - запальчиво возражает Гордон, - четыре старухи - уже доллар, между прочим. А насчет задницы - это ты хорошо заметил.”

Так эти двое переругиваются, стоя между мусорных баков возле какого-то полуразрушенного дома в *down-town*. Идет снег. За квартал от места, где происходят описываемые события, банда черных подростков забивает бейсбольными битами случайного прохожего. Большое Яблоко беспощадно к неудачникам. Безжалостно к людям, чьи души чисты и не тронуты пороком. Этот город нечеловечески жесток к русским писателям. Не знает он сострадания и к их любовникам - беззащитным американским райтерам.

Наши друзья, так и не набрав денег на шмаль, понуро бредут к Бруклинскому Мосту, где надеются раздобыть немного РСР у знакомого уличного дилера.

А в это время Элен, Элен, потерявшая в одно утро любовь и надежду, Элен, сломленная судьбой, но не предавшая идеалов Томаса Джефферсона, не изменившая делу борьбы тред-юнионов за интересы рабочего класса, - в это время Элен, начавшая свой скорбный путь из другого конца города-монстра, Элен также медленно, но неукоснительно приближается к Бруклинскому Мосту. Неспешно беседуя, мимо нее проходит группа одетых во все черное хасидов. Один из них, поравнявшись с Элен, приподнимает шляпу и, внимательно глядя ей в глаза, произносит: “Витам, пани”. “Дзень добжий. Пан разумие по польску?” - не глядя на него, отвечает Элен. В следующее мгновение она останавливается и поднимает глаза, вдруг поняв, что никогда не говорила раньше ни на одном иностранном языке. Но рядом с ней уже никого нет. Хасиды заворачивают за угол, где у синагоги собралась празднично настроенная толпа.

Гордон и Бóрис, стоя на мосту, отчаянно ругаются со знакомым дилером. “Я давал вам в кредит полгода назад, месяц назад, две недели назад, вчера, наконец! Я делал это исключительно из уважения к тебе, Бóрис. К тебе и к твоему великому соотечественнику, Лео Солженицыну, о котором рассказал мне Гордон. Но ребята, поймите, я же выкладывал за вас бабки из собственного кармана. У вас совесть есть, в конце концов?! У меня невесту две недели назад убили какие-то подонки, Лору - она далеко отсюда живет, на севере, почти у самой канадской границы, я вам рассказывал. Я думал, накоплю денег, вернусь к ней, она так хотела смотаться из городка этого нашего вонючего, мечтала, как мы с ней заживем вместе, на Манхэттене. А теперь какая-то сраная жопа из ФБР, какой-то мистер Маклохлан, дерьмо ирландское, вваливается ко мне с обыском и обещает напустить на меня мудаков из УБН...”

Элен стоит неподалеку, облокотившись на перила, чуть подавшись вперед. Она вполуха слушает матерщину несчастного дилера. Внизу, по серой декабрьской воде, плывет мусор: использованные презервативы, чей-то ботинок, размякшие пакеты из-под попкорна. Снег усиливается. Холодный ветер заставляет Элен поднять воротник. Она думает о далекой Польше, обо всем, что вдруг оттаяло и ожило в ее душе после случайной встречи с незнакомым хасидом.

Вдруг кто-то трогает ее за плечо. Элен, не оборачиваясь, стряхивает руку. С нее хватит любовников и предательств. С нее хватит чужого и навеки теперь мертвого прошлого. Все, все вспомнила Элен - Познань, герань на окне, стихи пламенного Адама Мицкевича... Только себя не вспомнила Элен, своего имени, своих родителей. Никогда теперь не узнает Элен, как звали ту, которой она обязана своим появлением на свет. Не узнает как выглядел ее отец. Был ли он красивым, статным, брал ли ее на руки, приходя домой с работы. Или наоборот, напивался каждый вечер и бил мать так, что наутро той стыдно было перед соседями.

В душе Элен пустота. Все смешалось: дом с мезонином где-то в Познани. В незнакомой родной Польше. Ласковые сильные руки Джона. Ледоруб, торчащий из затылка Лео Троцкого. Письмо другого Лео, Солженицына, делегатам Первого Съезда тред-юниона вермонтских писателей. Борьба за гражданские права. Томас Джефферсон. Потеря девственности на заднем сиденье сбесившегося впоследствии “Бьюика”. Трусски, неожиданно окровавленные первыми регулами. Все смешалось в душе Элен, слиплось в бесформенный мерзкий комок холестерина. Элен резко наклоняется вперед. Ее рвет, она наклоняется все дальше, все ближе к грязной воде, бесстрашно, как в стихах французского поэта Гийома Аполлинера, текущей под Бруклинским Мостом.

Вдруг Элен чувствует, как кто-то оттаскивает ее назад. Элен сопротивляется, каменные джунгли этого города почти сожрали ее. Но русские писатели не зря славятся на весь мир своей богатырской силой. Через мгновение Элен уже неудержимо рыдает на широкой груди Бóриса. Русский писатель успокаивает ее, гладит. Ему, вообще-то, нравятся тоненькие хрупкие девочки, блондинки с худенькой попкой и огнем между ног. Элен немного не в его вкусе, но, в целом, сойдет.

Когда Элен приходит в себя, они, вдвоем с Гордоном, пешком идут в отель. Пока Гордон бежит за водкой, Элен принимает душ. Вернувшись, наш герой застаёт вполне идиллическую картину. Элен, закутавшись в его, Гордона, одеяло с надписью “US Army”, сидит на кровати Бóриса, а тот поит ее куриным бульоном из купленных на остатки писательского вэлфера кубиков. Давясь экспортным русским самогоном, выжигающим в гортани дыру размером с Западную Сибирь, закусывая попкорном, Элен рассказывает друзьям историю своей жизни. Дойдя до событий сегодняшнего утра, она достает заветный медальон и раскрывает его. “Всю жизнь, - тихо говорит Элен, - всю свою жизнь я полагала, что этот портрет моей матери поможет мне восстановить утраченную связь времен, обрести корни, вернуться к себе. И вот, сегодня эта последняя надежда умерла. Я больше не знаю, кто я. И никогда уже не узнаю.”

Бóрис берет в руки медальон и долго, внимательно рассматривает его. Потом передает Гордону, который рассматривает медальон еще дольше и внимательнее. Друзья переглядываются. “Ты узнал ее? - тихо спрашивает писатель, - это великая Брешко-Брешковская, бабушка русской революции”. Понимание и благоговение в глазах Гордона сменяются непониманием и враждебностью. “Нет! Нет, Бóрис, ты ошибаешься, поверь. Это... - глаза Гордона наполняются слезами, - это... это моя мать, Эмма Голдштейн. А ты, Элен, ты - моя сестра. Мы считали тебя погибшей. Задолго до моего рождения, когда наши родители нелегально перебирались через Бессарабию в Триест, спасаясь от казаков, тебя украли цыгане. Если бы ты знала, какое счастье вновь обрести тебя! Жаль, наша мама не дожила до этого дня. Как бы она радовалась...”

Элен, в порыве чувств, бросается в широко раскрытые объятия Гордона. У нее снова есть семья, есть прошлое, родное пепелище где-то в Восточной Европе... У нее есть брат, наконец, пусть и младший. Внезапно она отстраняется. “А при чем тут Польша? При чем тут пламенный Адам Мицкевич? При чем тут Познань, Шопен, дом с мезонином? При чем?”

“Ложная память, - вмешивается Оно, - never mind it, babe, обычная лажа”. Бóрис поднимается с пола и выходит в коридор поссать.

Элен вновь припадает к груди Гордона. Теперь она тоже член клана гордонов и может по праву считаться человеком. Постепенно нежность сестры к брату переходит в нечто большее. Гордон несмело ласкает ее грудь, еще помнящую прикосновения предыдущего любовника, молодого активиста Джона с черной душой изменщика.

“Помоги мне, - шепчет Элен, - очисти меня от холестерина ложной памяти, о возлюбленный брат мой. Засохшую кровь Лео Троцкого смой с меня семенем своим. Убели одежды мои, первыми регулами Социалистической Революции в октябре семнадцатого окровавленные внезапно. Крести меня в чистой купели Яика во имя Емельяна Пугачева и легендарного командарма Чапаева. В микве меня омой водами Миссисипи во имя Мартина Лютера Кинга и генерала Гранта. Через обряд инициации шуцбунда проведи меня, о вновь обретенный брат мой. Причисти влагой Невы и Сены, Рейна и Ганга. Отпусти мне грехи мои - именем Ленина и Дантона, властью Конвента и Совнардепа. Люби меня, о возлюбленный брат мой. Люби во славу сипаев, расстрелянных английскими колонизаторами во главе с Редьярдом Кипплингом. Еби меня во славу товарища Тельмана и его сподвижников, замученных палачами гестапо. Трахай меня во славу нежного Че Гевары, чье тело недавно, по счастливой случайности, раскопали палеонтологи. Терзай устами сосцы мои во имя Кромвеля, Костюшко и Гарибальди. Засади мне, о брат мой, именем матери нашей, Эммы Голдштейн. Пролей в меня семя свое, о брат мой, белое как седины товарища Гэса Холла”.

Борис в клозете сначала блюет, а потом долго, с наслаждением курит косяк шмали, припрятанный позавчера от Гордона.

Гордон торопливо сдирает с Элен блядские трусики от Calvin Klein, расстегивает zipper, достает торчащий как какой-нибудь подосиновик с родины Бориса, сосок, и начинает fuck свою старшую сестру. Именно об этом и мечталось всю жизнь, понимает он вдруг со всей беспредельной ясностью, на которую только способен американский райтер, без пяти минут Фолкнер, без четверти Стайрон, без малого Сароян.

Тело Элен поет как кельтская латунная арфа. Как скрипка Гварнери. Как Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Как Леннон и Маккартни. Как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас ныне и присно и во веки веков. Это ее брат любит ее с мощью дикого Serge Dovlatoff. Делает с ней любовь нежно и долго как бродвейская постановка Anton Chekhov. Трахает ее целеустремленно и сосредоточенно, как собрание сочинений гениального Leo Tolstoy. Ебет ее жадно, неистово и амбивалентно как могли бы ебать только “Besy” и “Bratya Karamazoff” by Fyodor Dostoevsky вместе взятые.

Все существо, самая суть Элен открыта навстречу его страсти. Она качается на волнах любви, жадно вбирает всеми устьицами свет возвращенной памяти. Примерно через девять месяцев фотосинтез закончится. Последнего из рода Романовых съедят гигантские муравьи, расплодившиеся в последнее время под Екатеринбургом. Свердлов умрет от гриппа в 1918 году, в Петрограде.

Элен, внутренним взглядом своей, изрядно уже утомленной, но все еще зоркой матки, видит эти события ясно, как поверхность собственных век. Она почти уже готова исчезнуть, разлететься в пыль в сладком термоядерном explode прихода. А-аа, пусть все летит к чертям собачьим, к чертовой матери, к Пауэрсу и Розенбергам. Революция все равно победит, все спишет. Рот фронт, Yankee Doodle, к оружию, граждане, о Боже, еще, еще, о Боже, еще venseremos no pasaran nevermore.

Бóрис, русский писатель, бывший житомирский подросток, сидит на корточках в коридоре, кружится голова, ужасно кружится голова. Отличная шмаль, слава Аллаху и движению “Талибан”. И особая благодарность переводчицам - Рите Райт-Ковалевой и Норе Галь. Очень кружится голова, в соседнем парке кричит сова. Русский писатель, по обыкновению, пьян. Едет Moskva-Petushky, а в кармане, понятное дело, нож. Русского писателя за здорово живешь на понт не возьмешь. Сидит на корточках в коридоре. У него большое горе.

Гордон, детсадовский, в сущности, райтер. Наподобие Edvard Uspensky с его обдолбанным Cheburashka, но стопроцентный американский распиздяй. Insurance, licence, ISBN, аусвайс, свидетельство о крещении, свидетельство о венчании, ксива в порядке, все ништяк. Элен, дочь Эммы Голдштейн. Гордон Голдштейн, ее брат, профсоюзный лидер, личный друг Фрэнка Синатры и Рональда Рейгана. Лео Солженицын и Долорес Ибаррури наших дней.

А любой русский писатель - мы тоже люди с понятием, ты не думай - это не просто так, а на минуточку, Ленин сегодня. Ленин сегодня - это тоже не просто так, а на минуточку, русский писатель вчера. И, скорее всего, какой-нибудь Фромм или Маркузе послезавтра.

В общем, добро пожаловать в Holiday Inn. Have a nice weekend, man. Не забудь, парень, оплатить счет. У нас с этим не слишком строго, но, сам понимаешь, совесть постояльца - лучший контролер. Бляди у нас несколько чрезмерно... ну, скажем, self-motivated. Гони их на хуй, они тут и так всех заебали в кляку.

Ну ладно, увлекся. Все у них будет хорошо. Он, она, оно, гендерные прибабасы, тактика революционной борьбы, меньшевикам отпор, к Мартову не доебываться, не сметь. Как должна начинаться История Любви? В полном смысле Любви, Со Всех Больших Букв, как должна начинаться Ее история?

Даже не знаю, что вам еще сказать. В свете гендерных и социальных проблем. Ну, она любила Моцарта. И Баха. И Битлз. И меня. Лейкемия - это когда много белого. Как зимой. Брусиловский прорыв и подвенечное платье на уровне кровяных телец. Любовь - это когда не нужно просить прощения. С чего начать? Чем закончить? Как должна закончиться История Любви? В полном смысле Любви, Со Всех Больших Букв?

Не знаю. Так что до свидания. До свидания. До новых встреч.

Дверь во-он там.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Город и еще так далее: улица, листья, осень, дождь. Так далее, что плохо, почти ничего не видно. Тем более, сквозь ветровое стекло. Тому подобное, сквозь ветровое стекло, что видно из рук вон плохо и, таким образом, с глаз долой, отовсюду вон. Т.е. вон там и нигде, или нигде.

Собака, пересекающая мостовую, иссеченную грязноватой зеброй. Двигается так, как если бы мясо отделено от костей. Если остановится, не будет бежать, мясо опадет на асфальт. Есть животные, свинченные на скорую руку, плохо. Как если не затянуты как следует гайки.

Есть, если смотреть, аналогично и люди, мужчины, женщины и т.д., значительно далее, или есть, если посмотреть со стороны движения.

Дальше небольшой клуб, вроде сельского, внутри неизвестно с чем. Еще дальше кружка с черным кофе, растворимым быстро. Потом поворот. Поворот, повтор. Рапид, кровообращение. Город - и так. Сойдет, сходится в точку не моего зрения. В свой круг, не имеющий площади. Господи, как квадраты стучат. Вон, вон отсюда, вон.

Коля, Оля, отцы офицеры.

*

Сегодня выходить нельзя до утра. Вспышки то там, то здесь. То нигде. Дождь, нельзя выходить, нельзя. Включили иллюминацию, значит праздник. На собачьей площадке кипит веселье.

Сентиментальный самец бультерьера. Опытный любовник. Перспективный, начинающий. Например, журналист. Хорошая хватка. Инициативен. Общителен. Такое существо. Со временем нарастит брылы, каких бультерьерам не полагается. Самцам в особенности.

Самки еще туда-сюда. Бывают ласковые. Обязательные. Когда дело доходит до высиживания яиц. Вообще, ответственное отношение к оплодотворению и всему вытекающему. Это хорошо, с этим не поспоришь. Правда, офицер? Подтвердите, ну подтвердите же... Я прошу Вас.

*

Минуту назад к ней нельзя будет было прикоснуться. Сейчас температура резко упала. Она отдыхает раньше, еще быстрее. Им всегда так. Их любят. О них заботятся. А они все равно умирают. Они ведь сложно так, так непонятно всё это. Просто не успевают. Известно только, что она не болеет моими болезнями, а я - ее. И нам приходится болеть порознь. Так всегда с ними.

Это кровообращение, холестерин, дистония. Окна ДК. Завод Строителей. Окна, горящие в темноте. Коля, Оля, родители офицеры. Сложно и даже не пытаться понять. Фонари, в которых якобы ртуть. Галогенные лампы, светильники муниципального смысла.

Движение с одной стороны и движение не в ту сторону - с другой. Со всех известных других. Вспышки, что означает: *праздник, один из пронумерованных.*

*

Город, капли, обтрепалась подкладка плаща. Незачем починить, но это не страшно. Вот провалиться в метро, прямо на рельсы. В заброшенную штольню одного из туннелей. Перегонных, перегоняющих нас оттуда сюда. Страшно упасть с моста и т.д., а остальное не страшно, не катастрофа. Коля, Оля, постоим на мосту, где вода. Незачем, незачем, но не страшно.

Отключат ведь электричество, говорит она. За неуплату проезда и отсутствие света, т.е. поставят на счетчик. Но у нас на кухне еще осталось немного водки и газ. Коля, Оля на метромосту через всё. Неплательщики, изгой коммуны. Потом, когда подошли к двери, примерно такой как в *негде пожить*, дождь успокоился, почти перестал.

- Самки, знаешь, еще ничего, но самцы... - задумчиво произносит он.

*

Коля, Оля, матери офицеры. Рассеянно, медленно. Мелкодисперсно, дождливо вокруг. Листья рассеянно, лучше не повернуться. Лучше не видеть, но делать вид, что смотреть. Город подогревается, подкладка плаща. Инфракрасные существа. Требуется сложный, специальный бинокль. Исписанная бумага. Сплошной конфуз.

Если света не будет, то с глаз долой и солидная пеня.

Пятна от кислоты, когда последняя высыхает. Зима отопления нашего, птичья щелочь. Если не будет и отовсюду вон. Шипит и пенится, готовится к переезду. Черный воздух застыл в батареях, закрыв глаза. В неудобной, скрюченной позе. Матери в черных формах и безразличных погонах. Самки, впрочем, еще ничего.

Да. Я посторонюсь. Проходите же. Проходите, куда Вам уже не нужно. Думаю, да. Вы совершенно определенно правы, куда им... Это через одну, да.

*

Собственно говоря, так и есть. Коля, Оля, дети военруков. Дело достойных рук, заново отстроенный тир. Жестяная белочка, зайчик из двухслойной фанеры. Легкая на руку пневматическая мелкашка. Подставляй ладошку, отсыплю пулек. Мелких, как черный перец сухим горошком. Товсь, фаренгейт и цельсь, а потом огонь.

Самки еще ничего, но самцы... Брылы, слюна. Несимпатично отрубленный толстый хвост. Капельки, мелкая морось, только что крышу не прожигает. Красить по новой приходится каждый месяц. Галогенные лампы. Неон, аргон - безопасные как Нева и одноразовый Vis. Только сетчатка чувствует небольшую отдачу. Иридиодиагност сразу всё понимает. Оптический прицел. Никаких сомнений. Всё как обычно.

*

Праздник, один из пронумерованных навсегда. Коля, Оля, именинники февраля. Обугленный шоколад телефонного диалога, слова. Это кровообращение. И веселье кипит. Улица выгибает шею. Как маленький, игрушечный, пятнистый жираф. Короткий, осенний: День Иридиодиагноста.

Коля, Оля, смотрите в глаза друг друга. И так далее или если даже тому. Подобное “и нигде”. Собака - плохо собранный человек. Есть животные. Или аналогично, но с глаз долой. Минуту назад к ней нельзя было прикоснуться. Ожог, возведенный в куб, в третью степень. Окна ДК Вольных Каменщиков, субботняя дискотека. Заводские районы, подростковый гомеостаз.

Знаете, Коля, Оля, вот что, офицерские дети. Не вздумайте выходить до утра из дома. Заприте дверь. К окнам не приближайтесь.

Самки сами придут к вам. Они придут за вами чуть позже. Позже, когда самцы разбегутся в страхе.

ВЫВОДИТЕЛЬ РИТМА

Вчера, когда я возился с цветами, ко мне зашла старая приятельница.

- Представляешь, - сказала она, - была вчера у кардиолога, нашли аритмию. Сердечко пошаливает.

Я посмотрел на нее со страхом. Она закрыла глаза, повернулась и вышла быстро, как бы приволакивая правую ногу. Остановилась у двери. Потом резким движением распахнула её и побежала. Ромашка качнула головой. Астры перебросились несколькими репликами - о чем они говорили, я не расслышал. Я стоял и смотрел на нее, убегающую по переулку, мимо красного "Корвета", принадлежащего семье моего соседа. Мимо мусорных баков, переполненных от забастовки муниципальных работников. Мимо низких, приземистых, серых пятиэтажек. На нее, в узких черных джинсах, в маечке с надписью "Biohazard".

Я смотрел, пока она не остановилась. Взял сигарету из пачки. Прикурил от газовой плиты. Затянулся. Выпустил дым. Глиняный горшок с торфом вздохнул во сне. Два ириса в дальнем углу оранжереи стаскивали друг с друга остатки одежды.

С этими цветами больше возни, чем с людьми, поверьте мне.

Она вернулась. На этот раз я даже вспомнил, как ее звали. Но с того времени уже успел снова забыть. Какое-то слишком простое имя.

- Так что же, - сказала она, - ты думаешь это оно и есть?

Я думаю, да. Я думаю это оно и есть. Я их столько повидал, что хоть плачь. Я на этом собаку съел.

- Уходи, Дина, уходи. Уходи, цветы разнервничают.

- Мне насрать на твои цветы. Это то самое?

- Да, Дина. Скорее всего. Ты же знаешь, я не специалист.

- А кто специалист?

- Мало их теперь, что ли... Уходи, Дина. У ирисов приплода не будет.

- Ебала я твои ирисы, понимаешь?

Понимаю. Сейчас будем играть в Вильгельма Телля. Первая случка. Боже, сколько возни с этими цветами, если бы вы только знали.

- Ты же понимаешь, сейчас ничего нельзя сказать. Месяца через два...

- Месяца через два будет поздно.

- Возможно. Уходи, я тебе не могу помочь. Иди к черту. Иди к чертовой матери. Уходи, Дина, я тебя прошу.

Ушла. Захлопнула дверь. Но я действительно не знаю, что с этим делать. Сегодня ей придется огорчить своего парня. Сначала они попробуют. Но ничего не получится. Потом попробуют еще раз. Снова не получится. И тогда придется огорчить его.

Но, с другой стороны, так всегда было. Просто форма теперь изменилась. И кардиологи уже не те, что раньше.

Ирисы, кажется, кончили. Прошу прощения за каламбур. Значит, в июне будет приплод. Все, значит, у нас будет нормально. Я могу перевести дух. Взять еще сигарету. Рассказать вам, наконец, в чем дело.

Дело в том, что последнее время всё чаще мои знакомые - самые разные - заболевают новой, неизвестной болезнью. Они не могут ни танцевать, ни заниматься любовью, ни даже курить. Любое действие, где присутствует хотя бы самая ничтожная ритмическая составляющая, становится для них недоступным.

Они не могут вставать утром в одно и то же время каждый день. Они не могут проводить одно и то же количество часов где бы то ни было. Их шаги - разной длины. На улицах они часто останавливаются. Затем идут еще быстрее. Начинаются неприятности с сердцем, с легкими. Начинаются неприятности со всем.

Они живут недолго и умирают, как правило, в результате собственной ошибки. Например, если долго дышали часто-часто. Потом дыхание останавливается. И они умирают. Винить тут некого.

Но их мог бы спасти выводитель ритма.

ВТОРНИК, ВТОРОЕ ЯНВАРЯ

Второе января, бывшая сослуживица девушка Майя двадцати четырех с хвостиком лет только на вид, а на самом деле замужняя дама с ребенком всего немного младше ее самой.

Поднявшись на поверхность земли в районе метро «Текстильщики», страшный мороз, обменные пункты закрыты, мы, с невероятными трудностями, на свободно будто бы конвертируемые доллары, купили джина с тоником, семейный праздник, елочка, чтобы каждому разбавлять по вкусу или вообще пить просто тоник, как Майя обычно и делала.

Девочка Майя, бывшая сослуживица, пьющий муж. Закодировали, но подобрал, что называется, код. По образованию режиссер без театра, каких обычно и выпускают профильные высшие учебные заведения. Мрожек, «Бег», музыкальное одеяльце, сшитое из Абу Халила, Шостаковича, Dead Can Dance.

Бутылка тоника тяжелая, но джин еще тяжелее, истершийся мой по краям пуховик китайско-канадский. Долго ждать электрички, необщительный общественный транспорт на краю похмельного, посленовогодного света.

А девочка в это время, бывшая сослуживица Майя, готовит салаты. Ищет, чем бы занять ребенка. Раскладывает перед ним подаренный вчера подругой конструктор. Мы от метро позвонили и долго ждем теперь электричку, которая наконец, вот она, пришла и остановилась.

Новый район, всё перерыто, раскодированный муж встречает на остановке. Маленькая квартира, шоколадки ребенку. Радостная девочка, мама, жена – Майя. Красивая в кофточке вроде змеиной шкурки. Окна заклеены и тепло, тепло. Вчера Новый Год, завтра третье число. Сегодня вторник.

Потом приезжают ещё знакомые люди, жены, мужья, друзья. Вермут и сигарета по кругу Бог знает с чем.

- Ну, как ты жива вообще?
- Давайте я вас всех поцелую.
- Интересно, а меня?
- Слушай, а по деньгам там что-нибудь светит?

Благодаря сигарете или тому, что третий день градус не понижая, тело исчезает куда-то. Кошка острыми коготками впивается в ногу сквозь черные джинсы, ёлочка, надо бы за водкой, что ли, сходить?

А девочка, бывшая сослуживица Майя, бегаёт на кухню из комнаты и обратно, еда, тарелки, стаканы.

Наконец одни уезжают, другие исчезают неизвестно куда, то есть ночь. Начинаются танцы оставшихся, но ненадолго, устали все очень. Расшифрованный муж, ребенок и неблизкая, никакая уже, подруга уложены втроем в широкий низкий диван, свет погашен.

Майя моет посуду, не любит оставлять на утро, и вот, все дела, наконец закончены, мы сидим в кухне, стеклянная дверь прикрыта.

И мне, знаешь, Майя, мне нечего, в сущности, тебе рассказать. Ты сама все знаешь. До весны далеко, мороз, третье уже января и еще ночь. Только на вид девочка Майя, а на самом деле замужняя дама с ребенком всего немного младше тебя самой.

Не цепляйся к словам, не цепляйся ни к чему, не грусти. Не грусти, очень холодно там, на улице, третье уже января, край посленовогоднего света, все спят. Никогда не грусти, не цепляйся к словам, которые никому не нужны.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Как они смотрят на нас, когда мы, они проходим по улицам, по одним и тем же улицам. Когда лето кончается.

Жизнь, что называется прожита, хотя и не зря, возможно, дети, внуки, то да сё. Они ходят в магазин за продуктами днем, бесплатно пользуются общественным транспортом, такая прибавка к государственной небольшой ренте, пенсионное обеспечение от не слишком благодарного за всё потомства.

Одну из них я часто встречаю в автобусе, по дороге домой. Она говорит, спрашивает у всех случайно присутствующих: “А где мои рестораны? Он меня ни разу в ресторан не сводил, в “Пекин”. Он мне воды ни разу не подал, а вы? Я ни разу в ресторане не была, подонки он, подлецы, стакан воды мне не подал ни разу, а я по лестнице каждый день туда-сюда. Где мои рестораны, мои?” Публика молчит, пассажиры, скорее бы домой попасть переодеться в халаты и тренировочные штаны, поужинать, телевизор включить, у детей уроки проверить. Сторонятся. Она всегда выходит на остановку раньше. Так, если вдуматься, всего на остановку раньше, на Багрицкого. Такой был поэт. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Возрастай содружество ворона с бойцом.

Моя остановка - Петра Алексеева. Рабочий, кажется, - в школе учили. Чем Петр Алексеев зарабатывал себе на жизнь, не знаю. Отливал детали? На мануфактуре какой трудился? Не знаю, не помню. Отливки заржавели уже наверное, но атомам железа ничего не делается. Может быть они теперь в водопроводной воде, у меня на кухне - атомы железа, к которым прикасался мозолистыми руками Петр Алексеев. Может они у меня внутри теперь, хранят о нем память, навсегда в наших сердцах. А ситчик веселенький с мануфактуры, на которой Петр Алексеев, могло стать, трудился? Ситчик с птицами, с цветочками? Сгнил, сгинул, сгорел? Висит где-нибудь в старушечьей квартире на Сретенке грязными шторами? Бог весть, не знаю. Никто не знает, поди.

Руки у них уже плохо слушаются, в автобусах ступеньки высокие, дверь в подъезде тяжело подается, остается смотреть. Как они смотрят на нас, наблюдают. Но и мы наблюдаем, в свою очередь. Изредка обращаем внимание, какого цвета трава, во что дети на улицах одеты. А так сидим по офисам, перед телефонами, кзироксы шумят, лазерные принтеры, из них ползет бумага - контракты, пресс-релизы, прайс-листы. Иногда вдруг случайно замечаем - то время года переменялось, снег пошел, солнышко вышло, то еще что-нибудь. А они смотрят, глаза открыты. Смотрят, все видят, наблюдатели.

Смотрят на нас, кзироксы шумят, воняет озоном, из лазерных принтеров ползут теплые листы как черви, то лето идет, то еще что-нибудь, корвалол из неба капает вперемешку с водой.

А мы идем, идем себе по улицам, по переулочкам, под дождем, спускаемся в метро, висим на блестящих поручнях, стоим, курим на остановках, торопимся, опаздываем. Головы высоко подняты. Взгляд открытый, честный, походка раскованная. Рубашки белые, все у нас хорошо, начальство довольно. Дела идут лучше некуда. Дети пристроены, пишут друг другу валентинки, списывают домашние задания, новые времена как никак, Рождество скоро, праздники.

Головы подняты высоко, гордо. Взгляд открытый, честный. Глаз не прячем, стыдится нечего. Красные галстуки по ветру, правая рука поднята в салюте, общественный транспорт тащится еле-еле. А мы идем, идем, строй держим, шаг чеканим.

Наблюдатели, старики. Смотрите. Ничего старайтесь не пропустить. Ни одного движения, ни одного слова. В последний, возможно, раз смотрите. Больше случая может не представиться. Для вас парад, для вас праздник в конце лета, шарики, танцы, хорошая погода. Для вас стараются горнисты, вожатые, участники агитбригад. Для вас правые руки подняты в салюте, ваши дети идут, надежда отечества, будущее родины.

Ваши дети. Головы гордо подняты, рубашечки белые отглажены мамами, крылья расправлены, ветер шевелит легкие перышки. Кзироксы светятся. Фабричные гудки рвут синее небо. Ваши дети идут, последняя надежда человечества, ваши дети.

Пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Ногина.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Нет, нет. Вы не подумайте. Еще не хватало. Но вчера, когда ко мне в очередной раз обратились с каким-то вопросом, я вдруг понял, что вопрос не по адресу. И хватит об этом. Не спрашивайте больше ни о чем.

Тут у кого-то образовалась бесхозная партия мелких пушистых существ, игрушек. Под названием “Вупи”. В кепочках. Разных цветов. Я предлагаю продать их в рабство какой-нибудь среднетренированной фирме. Они могут приносить тапочки. По шесть на каждый. Взяли, понесли. Их можно рассадить по клавиатуре компьютера, чтобы они набирали тексты. Они могут искать мелкие предметы, потерянные сотрудниками. Они много чего могут. Вот только работорговля запрещена, поэтому их навыков и умений никто не оценит. Ничего личного, так, еще несколько тысяч жертв общественного лицемерия. Who cares, в самом деле?

Ничего, повторяю, личного, заметьте.

Или вот, к примеру, другой случай. Нет, не важно. Но тоже.

Скажем, не хватает денег на билет в оба конца. Что делать? Берем билет в один конец и уповаем на то, что у Господа нашего и без пригородных зайцев дел по горло. Но нет. Ничего более неотложного не нашлось. Никаких личных дел, никаких экстренных происшествий. МЧС и то добросовестней. И ничего. Не надо быть таким наивным. Вот и все.

А история с водой, которая всегда закручивается в одну и ту же сторону, если ложечкой не мешать? Вращение земли. Смех, да и только. Скажите еще, что монетка случайно выпадает. В существовании генератора случайных чисел меня убедить никому так и не удалось. Я скорее поверю в привидения. Или что подкова приносит счастье. Потому что, как сказал, кажется, Эйб Линкольн, “можно недолго обманывать всех, можно обманывать нескольких людей все время, но никто не может обманывать всех все время”. Но это неправда. Нас обмануть легко. Нас всякий может обидеть. Нас некому защитить.

Но это было давно. Мы сидели. Сидели, выпивали у меня дома, на кухне с одним бывшим теперь приятелем, Алексом. И он, дерьмовый режиссер, удачливый любовник, спросил у меня тогда, о том, что же с нами происходит. И я ответил ему, не помню, что, но подумал, что с нами-то как раз этого не должно было случиться. С нами все должно было быть совершенно иначе. Он не знает кто теперь. А я?

Нет, не подумайте, ничего личного. Это вопрос квот, пропорционального представительства и особенностей самой, вероятно, древней в мире судебной системы. О которой никто ничего не знает, потому что видим мы как бы в разбитом зеркале, тускло и гадательно. А денег на обратный билет, как водится, не хватило. Можно мой адвокат даст отвод некоторым присяжным?

Да, я тоже хотел бы образовать правительство, как сказал, кажется, мой друг Эйб Линкольн, народа, из народа и для народа. Туда вошли бы мои друзья. Многие из тех, к кому я просто хорошо отношусь. Некоторые писатели. Я сам, каким я был года три назад. Мы бы разрешили работоторговлю, устроив тем самым будущее мягких игрушек “Вупи”. Мы реформировали бы судебную систему. Мы запретили бы выращивать цветы на балконах и закладывать коллекционные вина. Потому что выпить коллекционное вино - все равно, что растлить ребенка. А это, несомненно, преступление.

Нет, ничего личного. Просто все как-то не так, вам не кажется?

Да, нас некому защитить. У нас хорошая кучность стрельбы, но точность зато никудышная. Девять из каждых десяти пуль уходят в “молоко”, за пределы мишени. Мы, наверное, не любили молоко раньше, когда кашляли по ночам, болели детскими болезнями - ангиной, бронхитом, воспалением легких. С нами все должно было быть иначе. Так что вопрос не по адресу. Бросим жребий? Только не говорите мне о том, что нужно быть последовательным. Мужественным. Легким на подъем. Ласковым. Ничего личного. У вас есть монетка? Там, за углом, наверное разменяют. Только не польститесь случайно на телефонный жетон.

А я пока стою здесь. Торопясь, докуриваю сигарету перед входом в метро. Как будто меня кто-то торопит. Каждый день утром я тороплю сливающуюся в ванной воду. Она всегда закручена по часовой стрелке, как идет время. Мне трудно говорить с вами. Вы только что прослушали великолепную двухчасовую речь нашего друга Эверетта. Вы устали. Но дело в том, что пока суть да дело, шутки шутками, несколько сот мягких разноцветных игрушек “Вупи” в смешных кепочках уже мертвы. И мы должны со всей решимостью сказать сейчас, что они погибли не напрасно. Что эта нация, ведомая Богом, даст новую жизнь Свободе. Что правительство народа, для народа и из народа никогда не исчезнет с лица земли.

Да нет, в общем-то, ничего личного. Он неплохой мужик.

Девушка, не подскажите сколько времени? Тогда может быть просто познакомимся? Пойдемте сегодня вечером в театр, а? Очень приятно. Нора, красивое имя. А меня зовут Джон Бут. Я актер. Правда, правда, не смейтесь.

Так как насчет сегодняшнего вечера?

КУХНЯ НАРОДОВ МИРА

— Пойдём, потанцуем? — Да нет, пожалуй я не танцую. — Это что, принцип? А в чём идеологическая нагрузка? — Да нет, не принцип, это факт моей литературной биографии и моторной дислексии. — Ты что же, тоже страдаешь дислексией? — Да я чем только не страдаю, дислексия – это ещё не самое худшее. — А худшее? — Худшее – это то, что я запала на дельфинов, реально. Хожу, ихнее мясо в супермаркете покупаю, и вообще. На курсы пошла, учиться говорить с ними. — И как, говорила с ними? — Да, и говорила с ними. — И как? — Отошли. — Куда отошли? — Туда где голубой кит отрёт с очей их всякую слезу, где полно мелкой рыбы, не говоря уже о планктоне, а времени нет. — Что же ты им сказала такое? — Не помню я, свистела сначала что-то необязательное. Потом что-то такое покрикивала, вроде бы про погоду. — А они? — Они тоже что-то такое покрикивали, потом посвистывали, тоже про погоду вроде бы, а потом отошли как-то сразу. — Из тебя вышел бы неплохой лингвист, – особенно с твоим специфическим пониманием таких предметов, как герменевтика и методология коммуникации. — Да, наверное, но вот видишь, жизнь-то как повернулась... — А мясо-то у них как? — Да ничего, вроде, мягкое такое, типа телятины, только рыбой пахнет. — Да, помню принял я как-то телятину за кальмаров тушёных. Что-то, думаю, нежные какие кальмары. И рыбой своей кальмаровой совсем не пахнут. А потом официант подошёл, белого весь цвета кроме бабочки и говорит, так, мол, и так, Вы ведь телятину заказывали. Нет, говорю, кальмаров. Он говорит, ну так вот, это телятина, между прочим. Ага, говорю, а я-то думаю, что это кальмары такие мясные, нежные. А дельфинов там не подавали. — А здесь их вообще не подают, в супермаркете только если перехватить где. — Что-то я и в супермаркете их не видел. — А это потому, что охота на них запрещена. Там упаковки такие розовые, всё иероглифами какими-то исписано, никому не понятными. Надо точно знать, как выглядит. — Слушай, а с чего ты взяла, что это дельфины? Может, это осьминог или трепанг. А то ещё помню была в моём детстве такая моллюск кукумария, в просторечии именуемая травяной морской блошкой. — Нет, это дельфины, точно. Просто это по-ихнему на упаковках с их мясом написано, а иероглифы для транслитерации. Латиницей или там кириллицей неудобно, они же попискивают так. Как китайцы — А это вообще справедливо, по-моему. И на курице по-куриному писать. А то захожу я как-то в продмаг, супермаркетов не было тогда ещё. Там на витрине лежит мясо кролика замороженное. И весёлый такой улыбчивый кролик глядит с каждого куска, обёрнутого в полиэтилен. Кушай, говорит, мою жизнь, приятно тебе аппетита. А вот бы по-ихнему написать на упаковке: "Я, кролик, хорошо питался, прожил недолгую, но насыщенную яркими событиями жизнь. И вот теперь рекомендую тебе, покупатель-путник, мои мечты и надежды в виде моего тела, уж какое есть. Туши меня хорошо, с моими любимыми грибами и овощами. Особенно я любил при жизни салат, одуванчики и лисички. Enjoy." — Нет, ты знаешь, я против. Дельфины – это всё-таки исключение для них нужно делать. Они же особенные. Это тебе не блошка травяная морская, кукумария, замухрышка какая-нибудь. Это же гордые, красивые животные, человечество моря. И потом, они гораздо вкуснее кролика – или курицы даже. Они же мчатся по просторам воды, в пустоте.— Я тоже мчался в прошлые выходные по просторам воды. На водном велосипеде. И был человечество местного пресноводного моря. А правильное питание – это важно, да. Вот, во Вьетнаме, пока советники наши не

надоумили вьетнамцев кормить, они в пике входили и не выходили. Сил не хватало штурвал на себя вытянуть... Может потанцуем всё-таки, а? — Нет, я не танцую, не улавливаю ритма. Это обычное дело у несостоявшихся лингвистов. — Какого ритма? — Никакого не улавливаю. — У меня такое впечатление, что это с тобой не от лингвистики, а от дельфиньей вырезки. У них же нет чувства ритма. — Возможно. Возможно, что и от вырезки. Потому что у моей, например, бабушки, чувство ритма было. Я билась-билась – и в момент зачатия, и в период беременности моей матери, но унаследовать его не смогла. Зато совершенно неожиданно унаследовала способность вышивать крестиком и любовь к художнику Тропинину. До поступления в институт ломала голову, как бы мне это приданое получше использовать, а потом встретила тебя, который любит, когда вышивают крестиком и художника Тропинина. И поняла, что ты – моя судьба. Женись на мне. — Нет, я не могу. — Почему? — Ну, ты знаешь, это сложный вопрос. Я бы тебе объяснил, но у нас с тобой разный взгляд на философскую герменевтику и методологию коммуникации. Мы не сможем вместе жить с такими разными взглядами. А конвергенция в нашем возрасте – это слишком уж как-то хлопотно, как ты полагаешь? — Я полагаю, ты прав. Хотя я, знаешь, сама себе не верю, только тебе.

Не знаю, к чему они завели здесь речь о вышивании крестиком, о русских художниках. Если Вы спросите меня, причём тут дельфины, мне тоже, скорее всего, нечего будет сказать. Дело, вероятно, в чувстве ритма, которого ей там трагически недостаёт. Зачем я только начал подслушивать? Я и так опаздываю. И ресторанчик этот довольно дорогой. Ну конечно же, они не поженятся. Слишком хлопотно в их возрасте. Она чем-то напоминает мне Майю, а он – меня самого. Я прав, как тебе кажется? — Мне кажется, да, ты прав. Вряд ли, в их-то возрасте.

Хотя я, знаешь, и сама себе-то не верю, только тебе.

Только тебе.

НОВЫЙ ЖУРНАЛИЗМ

НЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, А РАССКАЗ

Сегодня я, Станислав Л., хотел написать стишок Лене К. Под названием *не письмо, а записка*. Потому что стишок под названием *не стихотворение, а письмо* я уже сочинил. Возможно, впрочем, что стишок этот хотел сочинить не я, а, скажем, Юра С. Но дело это тёмное, и я не буду в это углубляться, не буду.

Мы много написали друг другу текстов уже. Наберется на небольшую такую книжку, как у молодого совсем поэта. Это, – как написано у Барта, кажется, – это способ такой друг о друга тереться мягкими частями речи. Потому что все остальные части у нас непоправимо твёрдые. Да и нет никаких частей. Какие, скажите, части, могут быть у тела без органов? Оно само даже никому не часть. Так что за неимением частей. И за общим неимением вообще.

Или не стихотворение, а письмо. Или не письмо, а рассказ. Или не рассказ, а записку.

В пять часов я посетил зубного врача. Зуб мне опять не запломбировали, потому что что-то там не так, промывали неприятным гипохлоритом, сверлили неприятным сверлом и делали другое, тоже неприятное.

Вчера Лена К. сказала мне, что я могу как она, а она как я не может. Не может. Аямогу. На самом деле я тоже так как она не могу уже, потому что возраст не тот, чтобы вот так вот – раз и всё, вот оно. Надо долго мучаться, пить таблетки (такое мочегонное для слов) и повторять угу, пока что-нибудь хотя бы не станет горьким во чреве моём, а устах – сладким как мёд.

Так что мы оба не можем. Совершенно одинаково. Приятно было бы думать, что мы как-то так особенно не можем. Как больше никто не может. Так что сердце просто останавливается и тупо смотрит, как у нас ничего не получается. Но на самом деле, мы не можем совершенно обычно. Как все не могут. Ничего особенного.

Сейчас девятнадцать часов двадцать восемь минут. Только что звонила слегка сумасшедшая девочка Э., издавшая недавно сборник своих рассказов и пашущая под чутким руководством А. Бергера в качестве автора журнала ТВ-Парк. Звонила с сотового, с дачи, только объяснила, почему не позвонила в прошлый раз. Какие-то у неё там дела. Я её никогда вроде не видел, мы общаемся по Сети, в основном. Но я чувствую в ней что-то вроде родственной души. Какая-то она неприкаянная. Вроде нас с Леной К.

О! Уже девятнадцать часов тридцать одна минута. Значит ровно три минуты ушло на девочку Э. Мало, мало. Девочка Э. заслуживает большего. Вот. Чувствую, сладким что-то становится в устах моих. Это джин-тоник очаковский, не иначе. Она, Э., говорит, обещали похолодание до двадцати двух. Хорошо, конечно, но жалко вместе с тем как-то. Привыкли мы уже. И горячую воду ещё не включили.

Девятнадцать тридцать четыре. Похолодание пока не чувствуется. Больше никто не звонит. Вот ведь я, Станислав Л., стишка сегодня так и не написал. Хотя старался, старался. Правда. Может быть, когда похолодает, будет мне легче писать. Хотя вряд ли. Легче уже никогда, наверное, не будет.

Мы тут с Леной К. были как-то на Юго-Западе. Я посмотрел на башню такую, зелёного стекла, знаете наверняка, и говорю ей, что вот, мол, смотрел я на это стекло году в девяносто четвертом, и совершенно другое было ощущение, совершенно. И я даже точно знаю, что изменилось. Изменилось то, что теперь моё будущее ничего мне не обещает. Как сказал, пошутив над своей деликатностью, милейший М.П., *ничего Вы ни хрена не найдёте*. И он, вероятно, прав. Надо будет поехать потом ещё посмотреть на здание это. Вдруг я чего пойму? Хотя вряд ли. Неприлично второй абзац подряд заканчивать тем же самым.

Девятнадцать сорок две. Какое, на хер, похолодание? Или это джин-тоник, любимый напиток Эммы Ц. и Ксении Р., так действует на меня? Хотя нет. Она пьёт настоящий такой, не из банки. Seagrams. Его на первой моей рекламной работе менеджеры любили пить. Соберутся бывало и давай этот Seagrams после работы в пятницу. Но, в отличие от Эммы Ц. и Ксении Р., менеджеры не вызывали у меня никаких нежных чувств. А эти двое – очень даже. Иногда как-то даже и чересчур, я пугаюсь. Мы почти близнецы. То есть, нет, мы почти тройняшки. Это я писать ходил – после джин-тоника.

Горький он, я чувствую, будет во чреве моем, хотя в устах сладкий такой – как мёд прямо.

Так и не написал я стишка. Девятнадцать уже сорок восемь, и ни стихотворения тебе, ни записки. Ни письма тем более, ни рассказа толком. Ничего мы не можем. Неполучается как-то. Движение останавливается, думает, вот идиоты, думает, помочь им что ли? Потом думает нет, на хуй. Жарко думает, пусть сами разбираются, на хуй. И возобновляется по сигналу постового милиционера.

На хуй, подумал я тоже, на хуй, на хуй. Открыл холодильник, взял ещё банку джин-тоника, а потом пошел на балкон. Сел в мягкое кресло, задрал ноги на перила, открыл джин-тоник и отхлебнул.

Сижу, задрав ноги, смотрю в небо, где облака. В небо смотрю, начало июля, завтра тяжёлый день. Но зато мы увидимся с Леной К., поговорим по аське с Эммой Ц. и Ксенией Р., позвонит девочка Э., много чего случится ещё. Нельзя сказать, что сегодняшний день был у меня особенно каким-то роскошным. Но, с другой стороны, именно такой день – это, вероятно, самое лучшее из того, на что имеет смысл рассчитывать.

Девятнадцать пятьдесят девять. Успел.

МАЙЯ, Я, КОРОТКИЕ ВЫХОДНЫЕ

Я придумал Майю год назад – или что-то около того – под каким-то неловким, надуманным предлогом. Что-то вроде наступления очередной фазы луны. Майя – девушка лет чуть поменьше моих, двадцати, скажем, трех. Почти не подкрашенная, почти естественная блондинка.

По выходным Майя смотрит телевизор бродит по квартире, подходит к холодильнику, открывает его, достает пакет с апельсиновым соком, наливает сок в стакан, несёт его в комнату, долго пьёт.

На следующий день, в воскресенье, Майе звонит её младший брат. С ним у Майи трудные, неоднозначные отношения детства.

— Привет, дорогой, – говорит Майя своему младшему брату Филиппу.

Они долго болтают, да, в последнее время мама сдала, надо бы ей съездить отдохнуть, но куда, как? Майя сама третий год никуда не ездит, не то чтобы даже нет денег или не отпускают, но с некоторых пор Майя не дает себе отдыхать, я не знаю почему. И она не знает, не любит вопросов на эту тему.

Я ещё довольно плохо представляю себе, чем занимается Майя во время, свободное от выходных. Летом Майя любит такие дни, когда на улице и солнце и ветер, правда все равно не открывает шторы до конца. Это июнь, думает Майя, осень не скоро, может быть я ещё успею куда-нибудь в этом году поехать.

Я помалкиваю, но, честно говоря, мне кажется, что и в этом году она навряд ли куда-нибудь выберется.

– Ты всё время дома сидишь, нельзя же так, сходила бы куда-нибудь, – всё время упрекает Майю Филипп, младший брат.

Майя, как мне кажется, отмахивается от него. То есть, нет, кивает, говорит, что, да, выберется куда-нибудь недельки через две, на природу или даже, возможно, в Питер. Но твердо понимает, что этого не будет, нет.

С тех пор, как я придумал Майю, прошло уже, да, наверное, чуть больше года. За это время она стала героиней всего одного небольшого рассказа. Не знаю, почему. Хотелось бы думать, что она просто ленится, а не то, чтобы ей это было совсем неприятно.

Майя. Такая беленькая капустаница – где-то так лет двадцати трёх – двадцати четырёх. Вот она в одних трусиках, жарко, идёт к холодильнику, наливает сок отборных апельсинов, выращенных в бразильской провинции Бибедойра. На крылышках бабочки узор жизни, ещё короткий как выходные.

Что ты делаешь по выходным, Майя, есть ли у тебя душа?

— Не знаю, – отвечает Майя, – не знаю, душа...

Майя, конечно. Майя. Никуда не ехать, сидеть дома сегодня, выходные и лето. К минимуму свести взаимодействие с улицей, до открытых окон. Жарко, Майя, не правда ли?

— Жарко, – отвечает Майя неизвестно кому, не видит меня.

По выходным Майя сидит дома, отдыхает от всего снаружи, у себя внутри отдыхает в квартире на окраине города, за Кольцевой далеко. Вечером Майя смотрит телевизор, ей нравится. Телевизор мелькает, Майя смотрит. Если отвернуться, то как бы бабочка светящаяся крыльями машет в углу. Светлой стороной повернется, блеснет, то сложит крылья. Так Майя проводит вечер.

Это бывает так: сначала, вроде бы, ничего, но через несколько дней начинает болеть. Болит и тянет, болит. Потом, если ничего не было у Майи за это время, перестает. И вроде бы, можно жить как всегда, как ни в чем не бывало.

По выходным никого нет дома и уже не болит. Можно делать то, о чём просит Майю майина жизнь, смотреть телевизор, поливать комнатные цветы.

— Здравствуй, дорогая, – говорит Майя вдруг позвонившей старой подруге.

Подруга спрашивает, рассказывает, звонит, интересуется, что происходит, как там работа, жарко, не правда ли, погода и личная жизнь, что слышно? Слышно плохо, батарейки в телефоне садятся, мигает тревожно красная лампочка, попискивает как голодный птенец.

Майя кладёт трубку, подходит к окну, почти голышом, жарко, но пусть смотрят, Майе даже нравится где-то внутри, глубоко. Пусть. Никого у Майи сейчас нет.

Вчера к Майе приезжал Серёжа, приятель её, по моим годичной давности прикидкам, будущего мужа. Рассказывал, что больше всего любит смотреть, как женщина просыпается.

— Всегда видишь ребёнка, ты понимаешь? Какая бы ни была, а всё равно ребёнок.

Майе скучно, Серёжа скучный, немудрено, что жена от него ушла, Инна, высокая, вечно хихикающая шатенка, менеджер среднего звена.

Майя сама – менеджер среднего звена. Я даже приблизительно представляю себе, с кого я её списал. Это вполне реальный персонаж. Хотя это словосочетание звучит как оксюморон, а?

Утром Майе трудно жить. Она не унывает, – думаю я, – наверное не унывает. Она у меня сильная. Ну и что, что жара? Не страшно, даже немного приятно.

Чуть меньше двух лет тому назад Майя забыла унаследованное от мамы кольцо в пансионате бывшего Госплана СССР, в котором отдыхали на халяву в обществе малопонятных людей, с которыми у меня явно было очень мало общего. Она вернулась тогда за кольцом, попросила сослуживца подвезти её, они ехали по тёмной, обросшей ледком дороге с какой-то невероятной скоростью, и с этого момента она начала бояться. Простенькое, серебряное, кажется, кольцо, которое она с тех пор перестала носить. Думаю, что навсегда.

Почему сейчас Майя об этом вспомнила? Я бы спросил её. Но что она может ответить мне кроме того, что я и так знаю? Может быть вы сами спросите? Позвоните ей, пришлите письмо. Sign her guesbook.

Жарко, Майя, не правда ли?

— Жарко, – отвечает Майя неизвестно кому, не видит меня.

Майя не слышит меня, не видит, но отвечает мне, сама не знает, кому. Я нахожусь за сотни хостов от нее, но нам обоим это неважно, мы заняты в жизни другими вещами. Голос – ведь это тоже модуляция-демодуляция с точно такими же, плохо предсказуемыми последствиями. Майя, в отличие от меня [мне так хочется], носит часы, и не пьёт Holsten ни под каким видом, и вообще не пьёт. Я придумал Майю пару месяцев назад, под предлогом наступления очередной фазы луны. С тех пор она пьёт сок и ходит по квартире, смотрит телевизор, а в остальном не знает совершенно чем себя занять [и в этом у нас общее]. А ещё она тоже, как я, считает время туда-сюда, вперёд-назад, вроде как леденец катает во рту. Мы похожи больше, чем кажется на первый взгляд. Майя склонна думать, что это судьба.

Я не склонен. Но Майя, в конце концов, вольна верить во что ей заблагорассудится. Она более или менее свободна – в рамках хотя бы этого текста. Верь во что хочешь, Майя. Мне всё равно. Поверь, никакого катарсиса в конце не будет. Катарсис случился, когда она вместе с Тимуром А., преуспевающим менеджером среднего тоже звена, ехала по Симферопольскому шоссе за колечком, оставленным в пансионате бывшего Госплана бывшего СССР.

Только нет, не подумайте. Денотат [если можно только употребить здесь такое слово] Майи – это не Таня П., которая однажды и впрямь заставила Тимура А. на бешеной скорости возвращаться с ней вместе по обледенелой ноябрьской дороге в пансионат бывшего Госплана бывшего СССР – за маминим колечком, которое она там оставила, почти потеряла. Нет. Таня П. здесь – скорее, означаемое. А денотат – это совершенно другая девушка. Не Лена К., кстати, если вы вдруг так подумали. И не девочка Э. Та вообще никакая не менеджер. Настоящий денотат вам никак не знаком. Ужасно, всё-таки, это звучит. Нет-нет, потому только, что денотат – несомненно, мужского рода, – а девушка, как ни крути, женского. Ох.

Лет семь назад мы с ещё одной барышней, которая и вовсе тут ни при чём, с Дашей Б., шли по Симферопольскому шоссе [довольно далеко от Москвы] и говорили о том, что так и так, ветер, осень была, но не поздняя, не ноябрь ещё, а скажем, только-только октябрь, и всё время шёл дождь. Часов я тогда уже не носил, колечко тихо лежало в стеклянной вазочке на Западе Москвы через несколько лет. По Симферопольскому шоссе время от времени проскальзывали машины, грузовики неизвестно откуда куда, длинные и высокие.

«Куда как страшно нам с тобой, - говорил я ей, - товарищ большеротый мой. Ах, как...». Я, впрочем, тогда ещё не курил. Побывала в Los Estados Unidos, но вернулась и вышла замуж. Родила девочку от Вани из Тринадцатой Группы. Симферопольское шоссе, говорят, почти не изменилось. Поэт Мандельштам, говорят, больше не пишет и поступил на работу в банк. Или я путаю его с Гондельманом?

Странно даже, что когда Майя говорит, это прямая речь. Она ведь ничего обо мне [откуда?] не знает. Как, впрочем и я о ней. Этот, положим, год, который прошёл с тех пор, как я ее придумал – слишком короткий срок, чтобы узнать друг друга.

Нельзя, правда, сказать, что речь Майи как-то по-особенному косвенна. Если она касается меня, я ведь обязан принимать это во внимание, так? Вечером Майя лежит на диване, читает “Pet cemetery” [мне почему-то кажется, что она вообще должна любить Стивена Кинга, добирая недостающих по моей вине эмоций, сенсорный голод, вообще-то, может зря я так мучаюсь, обычное дело для девушек ее возраста и рода занятий – *какого?*].

И вот она думает, думает всё, как всегда, о том, что вот, выходные прошли, колечко вернулось, но как-то не хочется больше его носить, неуместно, нельзя.

А в понедельник утром Майя выходит на кухню, наклоняется над столом, читает записку мою, улыбается. Она привыкла, поэтому записка перемещается висеть на дверцу холодильника, в который Майя лезет за йогуртом, сердцем и сливками. Завтрак.

– Вечно ты занят какими-то совершенно отвлеченными вещами, – неслышно, на расстоянии упрекает меня Майя.

– Ну что я могу поделать, – отвечаю я, – мне это так нравится.

– Я знаю, – качает она головой, – я знаю.

И садится завтракать.

Но к чему это всё? А. Сейчас расскажу. Ужасно милый молчеловек прислал недавно на адрес журнала, в котором я соредактором, текст – про Майю и одного из нас. Там, в тексте – в хорошем – мы с Майей расстаёмся, общаемся – и, к тому же, уже, будто бы, позанимавшись любовью. И там перед нами лежит, как мне показалось необычайно отчётливо, белое, совершенно чистое время, которого у нас с Майей, на самом деле нет и не будет никогда, быть не может – она даже ведь толком не знает, существую ли я на самом деле. У Юнга – мной также некогда любимого – она прочитала, что мужская фигура без лица, которую она видит во сне – это Анимус, один из персонажей её, Майи, бессознательного. Это её успокоило, и она теперь [почти без усилий] больше об этом не думает. А молчеловека, написавшего неплохой текст [о котором, собственно, речь], зовут Филлипом. И имейте в виду, что, поскольку этот мой цикл текстов посвящён новому журнализму, всё, о чём вы узнали из заканчивающегося на этом абзаца – и, одновременно, рассказа – чистая правда.

НОВЫЙ ЖУРНАЛИЗМ

Золото, а не бумажки. И мы даже знаем откуда это: you never give me your money, you only give me your funny paper. Пластинка Abbey road. Какой-то там поздний, кажется, год.

Предпрошедшее моё. Третьего дня снова сидел просто пялился в монитор, играл в тетрис, убивал время. Прошедшее моё незаконченное. Слушал привезённую когда-то Зелёным из Штатов, где он теперь надолго [и то – не в Ульяновске же жить – тем более не в Москве с нелюбимой женой], кассету: Uppity Blues Women. Блюзовую по форме и феминистскую по содержанию. Предпрошедшее моё, бог свидетель, бог вседержитель.

Не ощущаются быстрые перемены температуры от жары и обратно – южная сторона. Долго остывает, быстро нагревается. Правильная квартира. Мой характер. Но так, вероятно, не должно быть. There ain't no one, who's immuned to the blues. Тебя, читатель мой, касается ничуть не меньше. Особенно если ты намерен продолжать чтение. А то на меня даже кролики кричат.

В прошлый четверг Лена К. предложила мне жениться на Эмме Ц. Я объяснял Лене К., что такое настоящая безнадежность и почему тоску иногда называют смертной [я вообще люблю разговаривать про всякое дерьмо в этом духе]. Слов нужных, как всегда, не находилось, и я сказал Лене К., что лучше перешлю, мол, ей текст Эммы Ц. про Б. и Б. – как они удельывают Америку. В этот момент Лене К. понадобилось отойти, а вернувшись за столик небольшого бара, куда мы пришли отпраздновать моё увольнение с работы, она и высказала свою замечательную идею. Когда я поведал об этом забавном с моей точки зрения случае Эмме Ц., она ответила мне буквально следующее [разговор вёлся по ICQ, поэтому я могу воспроизвести её слова совершенно точно, ничего не упустив – нельзя полагаться на собственную память, нельзя, сколько раз убеждался] – буквально следующее: *очень как-то грамотно всё же у нее получилось: если я написала безнадежный текст про б. и б., то ты, как честный человек, обязан жениться.*

Не знаю, подходит ли тут слово *грамотно*, но этот случай, несомненно, прибавляет нечто новое к наметившейся тенденции использования Б. и Б. в качестве культурных фигур, задающих систему координат новой журналистики. Боюсь, всё же, что дело тут в стремлении стеснительных и чистых вообще-то душою русских интеллигентов хоть как-то усвоить всё это хозяйство – если и подавившись, то, хотя бы, не насмерть.

Это плодотворная практика, я считаю. Б. и Б. мы будем использовать в жизни по разным поводам, а самих себя – в текстах стихотворений и прозаических фрагментов. Потому что это круто. Хе-хе.

Должен сказать, что больше всего мне нравятся, разумеется, не Б. и Б., а вовсе этот мрачный кролик, которого Вы, возможно тоже видали. Ну, в любом случае, на него похож кто-то из Ваших знакомых или родственников. Человек, который его нарисовал, всё время чего-то от него хочет. То с морковью к нему лезет, то просто пальцем в бок тыкает. А видно, между тем, что кролик, со своей стороны, хочет только одного – чтобы от него все отвалили. И то не факт, что он тогда успокоится. И в конце кролик всегда лопается от злости. Я думаю, что так вёл бы себя Ослик Иа-Иа, воспитанный в культурной ситуации девяностых. И очень радуюсь, что я не кролик, а наоборот, на меня кролики уже кричат и тыкают в бок, а я даже от злости не лопаюсь, а наоборот, пишу текст про новый журнализм, Лену К., Майю, и Эмму Ц.

Я называю это духовной стойкостью.

Предпрошедшее, ох. Смотри же, сердце моё: это золото, не бумажки. Золото, – это когда кролики кричат на тебя, а все остальные молчат и отводят глаза. Золото, не бумажки, имей в виду. Настоящее моё в прошедшем. Бог свидетель, бог вседержитель, всё такое, очерки, новости, общение с духами.

Когда я понимаю, что всё равно придется идти за выпивкой, я сожалею о том, что непрерывность мироздания заметна только на микроуровне. Я слишком большой. Но никто не предлагает мне напитков и закусок для уменьшения или хотя бы увеличения. У меня проблема с размерами. Я слишком большой по своим собственным даже классическим меркам, о квантовых и разговору нет. Это всё потому, что кто-то слишком много ест.

Лена К. тут как-то сказала мне, что писатель порождает свою собственную интонацию, а журналист, – этот наоборот, с дивной избирательностью пользуется для своих головоломных комбинаций чужими. Не знаю. Возможно. Но по мне – так это не имеет большого значения. Когда Тане П. однажды понадобилось упрекнуть меня в том, что она не родила от меня ребёнка, в ход пошла статья Валерия тоже П., одного из лучших перьев Издательского Дома «На Соколе», напечатанная в красивом журнале для жён новых тогда ещё русских. Мало того, что мы все получили удовольствие от написанного, мы ещё и пообщаться на важные темы через это самое умудрились. А такая возможность Валерием П. и прочими людьми с Сокола, скорее всего, всё-таки, не подразумевалась. И если кто скажет Вам после этого, что, мол, *media is the message*, просто молчите и улыбайтесь. А лучше пошлите в пизду того, кто это сказал. Он ни хуя не понимает ни в новом журнализме, ни в чём. Вы только время с ним потеряете.

Предпрошедшее моё. Золото, не бумажки, о нет. Продолжающееся моё в прошедшем. Языковая практика, чтение со словарём. Размышления о политике. Вроде всё хорошо, но как-то так недостаточно. Пасмурно, вроде бы, но жара не спадает. К понедельнику очерк о четырёх последних премьерах. Вообще новости, рецензии, очерки. Будто бы что-то *привет*. Как бы так *до свидания*.

И кстати, да, забыл – это, – как это называется – ну это... читатель. Да. Я тебе вот что хотел [мы, вроде, на ты, да?] сказать. Мы их с тобой всё равно всех уделаем. Схватим и за жопу, и за сиськи – смотри, какие у них клёвые сиськи. А потом они нам дадут – я тебе говорю, дадут точно, – мы их будем трахать с тобой сколько влезет. А сегодня у нас с тобой клёвый день, читатель, скажи же? *The day before tomorrow*, сегодня, *today*, ты прикинь. Очень всё круто. Лучший, вообще, день был сегодня.

Предпрошедшее моё. Мы смотрим за людьми, но не вмешиваемся. Ангелы смотрят за нами, но вмешиваются. Бог свидетель, бог вседержитель. Ох, да. Двадцать часов сорок одна минута, двадцать четвёртого июля, Москва.

МИР НОВОСТЕЙ

Ездовые собаки острова Патмос

*For thou shalt break forth
on the right hand and on the left*

Isaiah, 54, 3

если мы идём идём не спеша беседуя я вечно оказываюсь слева от тебя ближе тебе с сердцу дальше от сердца мне мы ещё меняемся местами отсчитывая топос отталкиваясь от проходящих сквозь наши человеческие тела вертикальных в сущности осей которым и дела то что до земли как до неба ну или нет верха низа но мыслится нам не это а вообще: кто из нас слева кто справа и откуда нам знать взять если только из ничего у нас и берутся метки или скажем не из ничего а из внутри как сказано в словаре левый находящийся с той стороны тела где сердце как ни крути

всё равно если мы идём идём не спеша беседуя что называют коммуникация или в простоте общение и говорят “лицом к лицу” у них сильно развито образное мышление абстрактных категорий они не любят и говорят лицом к лицу нарочно подчёркивая этим самым безразличие содержания нашего разговора к тому обстоятельству места кто из нас где находится вот если бы мы скажем писали а не разговаривали ничего бы у них не вышло потому что читаем мы всегда отсюда туда а наоборот напротив никогда

кроме как если мы идём идём не спеша беседуя никуда не торопясь то выходит с непонятно какой стороны что обращаемся к кому-то тому кто к нам лицом а ко всему остальному напротив и сказать-то неудобно и тут уже вроде бы другое дело он-то знает кто из нас справа кто слева но молчит слушает не скажет к миру спиной к нам лицом значит мы где?

если мы идём идём не спеша не торопясь никуда беседуя о том о сём что Бог не фразер но как выяснили физики левша и биология это подтвердила открыв что молекулы белка вращают плоскость поляризации света против часовой стрелки а история наоборот опровергла объявив что сослагательного наклонения не существует то есть всё всегда по часовой поминутно и даже посекундно но если читать сказку с конца как принято проверять сочинение чтобы не отвлекаться но с другой стороны какой тогда интерес то вроде бы опять выходит что левша ну во всяком случае уж никак не амбидекстр которых как известно среди котов больше чем среди людей и тем более чем среди например ангелов которые вообще суть мысли и представления Создателя и всё равно стало быть за каким плечом потому как не справа и не слева а всё же нигде либо вверху на что собственно и указывает воспаленная вертикальная ось проходящая сквозь человеческое тело вот это самое человеческое тело

и если мы идём идём не спеша беседуя о своём то подходя к станции метро “Арбатская” пошарив в карманах находим три вещи которые в большинстве случаев находятся слева засушенное крошачьеся пряничное сердечко жетончик на метро который берём в правую руку опускаем проходим слева какие-то деньги чтобы добраться до дома если поздно и метро уже не ходит для чего нужно левую сторону дороги оставить ради правой потому что мы там где приходится снимать цилиндр перед тем как сесть в такси и не на острове если забыть про эпитафию к известному роману Эрнеста Хэмингуэя в переводе Ивана Кашкина

к тому же если мы идём идём не спеша беседуя никуда не торопясь по длинному светлому под землёй с колоннами залу “зимой-тепло-летом-холодно” и если как рабочую гипотезу что мы возвращаемся в один из продуваемых всеми ветрами спальных районов в середине декабря вечером то несмотря на обилие предположений поезд наш придет с неизвестно какой стороны ибо ввиду собачьего холода мы нырнули в первый попавшийся вестибюль гостеприимно к тому же кем-то освещённый и помеченный двумя светящимися перевёрнутыми галочками как хочешь так и читай такое дело

например так если мы идём идём не спеша беседуя никуда не спеша то нас вполне устраивает вероятно такое положение дел но слово за слово ночь кажется затевается и краешком задевает это дело намекая тем самым прозрачнейше что мол пора и честь знать и что давайте мол зачитаю вам ваши права если итак не знаете но и у меня свои есть и буду из отстаивать или как выражаются представители свободлюбивых наций I should stand on my rights ‘cos there ain’t nothing more left for me in your dirty sexist Russia. Get lost you man w/your fuckin’ left-handed compliments. I’m gonna call my lawyer right now! I ain’t just been in my right mind on our wedding day. Lousy writer! Dostoevsky had left us more real literature in his stinky piece of shit than you in all your books! National bestseller!! real asshole by all rights по правые руки чуть позади остается вышеприведенный гневный монолог принявший на сей раз облик молодящейся засушенной американки бальзаковского возраста с явно подтянутыми в дорогой косметической клинике морщинами отчего лицо кажется немного неестественно чуть более симметричным или скажем немного неестественно чуть более состоящим из двух правых или двух левых половинок похожим на маску иноязычного божка метрополитена слева по эскалатору стойте там проходите наоборот там

где мы идем идем не спеша беседуя стараясь ни на что особенно не отвлекаться скажем на то что вскоре новый год Рождество стоящее по обе от него стороны точно как в деснице его книга написанная внутри и вовне а ошуюю стоят стройными рядами расположенные в боевых порядках известно кто и труба труба Бог мой какая труба Небесный Новый Орлеан ни дать ни взять самое что ни на есть верхнее до но невидим архангел мороз узором лёг на храм и дивен он повторяет про себя туда-сюда некто профессор этимологии шахматов (no kiddin’...) продолжая размышлять о весьма занимательном предмете точнее как же это так всё-таки вышло что левый заметьте левый приток не только Днепра заметьте не только но и Южного Буга называется смешно сказать Десной и зачем же это так всё прости Господи нелепо устроено и где же вы тут спрашивается видите хоть какую-нибудь справедливость

в том что если мы идём идём не спеша беседуя не торопясь никуда особенно что касается разговора упирающегося раньше чем никогда в определённые вещи из чего понятно берущие происхождение туда и гибель их идёт по необходимости ибо они платят друг другу взыскание и пени за бесчинство своё после установленного срока того же к примеру нового с худенькой белоснежкой вначале слева и семью в конце справа гномами года время которого тянется к началу ощутимо быстро и уж во всяком разе быстрее нежели кажется откуда вещи берут происхождение своё и куда же должны сойти по необходимости потому как должны платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени правота которого всего-то что не подтверждает нашу почему мы и должны принять сторону сердца ночью в переходе метро с пятого на десятое чёт-нечет Пушкинская-Тверская

если мы идём идём не спеша беседуя о последних “Числах” этого самого неловко даже и сказать девяносто шестого уже с определённого времени декабря и вот уж переписка наша слабеет и всё прерывистей и рассвет с запада если к северу лицом стоять слева за углом притаился неуютный игрушечный лев но неприятное несколько предчувствие подёргивает ту самую внутри сторону а собеседница моя шуйцу свою кутает в мою десницу и беседует мне немного так рассеяно как вдруг вдруг систола мои с диастолой друг другу в объятья внезапно вдруг обнимаются уже милуются ровно родные сестры будто и не обманывал их любимых одну с другою будто не изменял обнялись и снаружи откуда не возьмись за неё темнота повсеместная шум множества будто бы колесниц железных и вижу валится валится вдруг с неба свежесрезанная грохот медь бряцающая стебель исполинский софар шипами рвёт сухожилия рвёт рвёт бутон в кашу крошит лучевые крошит лапу переднюю отгрызаю быстро быстро мудак такой капкан со всех сторон темнота свет шум мостовая фары асфальт фары с одной лапой левша хромой пойдёшь первым

ДИАЛОГИ [III]

[...]

Если мы – в разных концах, т.е., нет-нет, что же я, ровно в противоположных концах, то ёсть ли, скажите, смысл прикладывать линейку к карте, либо пытаться /.....*вот так*...../ измерить расстояние по тарифной сетке телефонной компании? Нет. Нет – ещё раз. Лучше, взяв в руки книгу, спокойно дожидаться звонка, смотреть по телевизору производственный сериал из жизни медиков, трудолюбивых солдат, обретающихся в комфортабельном более или менее окопе на переднем крае борьбы.

Если мы – на противоположных аккуратно концах города, в котором оба провели всю свою жизнь за вычетом каникул и отпусков, – стоит ли вычислять, сколько времени займёт поездка на метро друг к другу? Стоит ли заглядывать в кошелёк, пытаясь прикинуть, хватит ли денег на машину? Стоит ли покупать очередную пару батареек для плеера, чтобы не так скушно было ехать, играя в гляделки со своим отражением в вагонном стекле? Ответ? Нет. Конечно же, нет. Не лучше ли, скажите, взять в руки толстый учебник по языку гипертекстовой разметки, открыть его на *середине*, разломив как очищенный апельсин, и читать, чувствуя, как замирает душа и поёт сердце? А потом смотреть по телевизору очередной эпизод.

II

Илона гадает на картах Таро. У неё сын восьми лет, смутный муж, черты которого едва вспоминаются, и дедушка из айзсаргов. Чуть ли не из тех, кто помнит ещё, чем смотрелся букет из красных и белых гвоздик, невесть как оказавшийся в кабинете Улманиса, – двадцатого июня сорокового года. Худенькая, юная ещё дама с тёмными волосами в красной бесформенной кофточке и длинной юбке, на коммунальной кухне, которую они делят теперь с шумной еврейской семьёй, осевшей впоследствии в малоэтажной белой новостройке, уродливой и неуместной – как все новостройки на свете, – посреди пыли и солнца, где-то на окраине Ашдода. Борис в войну был танкистом, а на моей памяти водил старенькую бежевую “Победу” обтекаемых форм, не снившихся ни одному болиду.

По самодельным, ярким картам Илоны выходит, что я разбиваю сердце какой-то девочки. Я, поняв, о ком, собственно, речь, краснею и отворачиваюсь к окну, где садится, – прямо в серые тогда, тяжёлые внутренности советской Риги – красное июньское солнце. С полгода тому назад я встретил её, ту девочку, на детской площадке, – неподалёку от места, где мы оба сажали деревья – в пятом, кажется, классе, – во время субботника по случаю сорокалетия победы в той самой войне, которую Борис прошёл танкистом насквозь.

Мы перекинулись несколькими фразами в течении десяти, скажем, или что-то вроде того, минут – под пристальным взглядом её трёхлетнего сына, который вынужден был, по такому случаю, отвлечься от заключавшегося в дележе синих красных пластмассовых формочек для песка, флирта со своей ровесницей, блондинкой в кокетливом розовом комбинезоне. Обладательница разбитого сердца, носящая, по обыкновению моему, милое слуху и сердцу имя героини “Онегина”, приехала, как оказалось, ненадолго к родителям, погостить – из того приморского южного города, от которого до Ашдода – рукой подать. Я нашёл, что она вовсе не изменилась за те одиннадцать лет, что прошли со времени нашей последней встречи – разве что, расплнела. Она нашла, что я изменился к лучшему и даже, будто бы, показалось ей, имею вид человека, в известной степени благополучного, или даже, сказать, преуспевающего в этой жизни. Малютка её нашел меня не столь интересным, как ему показалось на первый взгляд, и вернулся к розовому комбинезону. Я выразил хозяйке пострадавшего некогда через меня, но оставшегося, промышлением невидимых добрых сил, невредимым, сердца, своё восхищение умильной галантностью карапуза. Мы попрощались, изъявили друг другу надежду увидеться ещё как-нибудь в будущем, и я поспешил домой, где меня ожидали приготовления к визиту гостей. Гости, впрочем, не пришли. В шипении длинного этим временем суток хэндшейка я, вроде бы, различил одно смутно знакомое латышское слово, – но, скорее всего, мне поблазнилось, прислышалось – я обманулся. Так что не буду я лучше вводить вас попусту в заблуждение. Его звали Брунис – сына Илоны, я имею в виду. Вот – вспомнил всё-таки. Брунис, да.

III

Если подряд записывать (и без интервалов) всё что вокруг, получается такая-ая упоительная проза – ждёт уж читатель рифмы – мороза, обоза, уж видятся ему берёза, грёза, мимоза – жди, милый читатель, жди. Это воспитывает в тебе терпение и тренирует выдержку. Пусть даже тебе и не пригодятся они – ни выдержка, ни терпение – как не пригодились мне. Однако же и простым упражнением не слишком употребительных мускулов достигается известная польза для тех или иных органов тела. А души – наипаче.

Наш Общий Друг – если уже и бывший, так что же? – выходит из двери дома номер 26 по улице – впрочем, так ли это важно? – и, воробушком нахохлившись, спешит к предпоследнему в этих местах метро. Вокруг морозная Москва, – точнее, её северо-восточный сектор, – выдыхает спокойным каким-то подземным драконом, – выдыхает: *пар, поднимающийся от вентиляционных решёток*. Мост через окружную железную дорогу – веточка до МЭЛЗа, веточка до Мосбытхима, веточка к поликлинике Имени Десятилетия Октября. Торопись, торопись, друг мой – потому как холодно, и приятно ли тянуться в хвосте скрипучего обоза граждан, спешащих занять рабочие места в разных районах столицы? Разве задержаться только, протолкавшись наперерез спешащим, перехватить у старушки в переходе к «Площади Революции» февральскую, чахлую ещё мимозу? Ни тебя, ни меня в детстве с кузиною не купали в одном корыте, – у тебя, правда, с другой стороны поглядеть, в детстве был младший брат, и было к кому ревновать маму, армянское имя которой за все восемь лет, что мы были с тобой знакомы, я так и не смог запомнить. У меня же младшего брата, ниже сестры, не было и в помине, – от чего всё так и получилось, – вроде как пригрзилось, показалось – получилось, – сложилось.

А у меня под окном берёза – высокая, плакучая, – до самого седьмого моего этажа. Веточка до моего балкона, веточка до окна кухни, веточка к вам обоим – в окошко, в душу живую, туда – ну, да вы не заметите.

Такая-ая. Всё, что вокруг, без интервалов, и *без без без* интервалов такая такая, – ну, да вы сами знаете – веточка, веточка, никаких тебе рифм, веточка – никаких.

IV

Маленькая программка превращает твою, вполне ещё ничего, машину, в дребезжащую старую «Эрику». Даже и с характерным звуком на месте возврата каретки. А если печатать гарнитурой **Курьер**, то совсем выходит похоже.

А телефон превращает её во второе тело, которое и говорит, и болеет. И болеет непонятными болезнями – не от удовольствия даже, а от работы, что и вовсе уж, воля ваша, обидно. Маленькая программка, – такая, что не заметишь, – превращает живое, живое совсем ещё существо, только-только – в больного, ноющего котенка, поскуливающего щенка. И ах.

«Эрика» берёт четыре копии. Вот и всё. И этого достаточно, да. Каждый раз, когда мне нужна говорящая, работающая деталька – из настоящего дерева, – я оборачиваюсь туда, там всего много. И как говорил – *Itn* говорил – новые ракурсы. Как мы с С. сидим у меня в блоке, – а я плачу, да – а она нервничает, потому что её ждёт муж тогдашний – пятью этажами выше. Но уйти раньше, чем я доплачу – тоже, вроде, нельзя. Там, – там, та-ам, куда я оборачиваюсь обораачивааюсь о-бо-ра-чива-ах-останавливается сердце-ваюсь! – там жизнь моей жизни. Преображенка моей речи, Калининский проспект моего тела, – *теофиллин* моих бронхов и *визин* очей моих; *фурациллин* гланд и *тетрациклин* прокуренных лёгких. Там.

— Верю, — сказал мне один такой, — что Вы делаете это специально. Но никак, – видит Бог... – никак не возьму в толк, зачем :-).

Я делаю это специально. Да, спе-ци-аль-но. Эрика, четыре копии, гарнитура **Курьер**. Оборачиваюсь оттуда обратно, – я здесь. И специально, – можно даже сказать, нарочно всё это. Танк медленно перемещал хоботок по транспортиру, который был у человека внутри перед глазами. И прямо на нас, на мост. Врассыпную, – но поехал обратно, уставился на фасад. Там уже было не видно, – только ухнуло довольно, и стёкла долго, с шуршащим звоном, осыпались на площадь.

Четыре копии. Тетрациклин моих лёгких. Преображенка моего языка. Жизнь моей жизни. Никак не возьму в толк, зачем.

V

— Тик-так, – говорили часы, // поедая время. — Это из поэта Чарлза Резникова, которого Митя переводил, и я перекладывал тоже на собственный свой мотив. Перекладываешь, примериваешься, так ли, сяк ли, линейчку прикладываешь, транспортер, ползёшь по карте геодезистом, масштаб измеряешь, получилось-не получилось. — Не получилось? — Кажется, нет.

Тик-так, – *говорили часы*. Включаешь тостер, и счётчик начинает сразу же торопиться. Будто бы тостер догоняет его, но догнать не может. Торопится по кругу, – коммунальная каруселька, лошадка, игрушечный китайский дракон в Луна-парке. В вагончиках живут чехи, переругиваются, сушат бельё на верёвках, протянутых между берёзок. Тиктак (*тиктак*). Тихо, украдкой, – вроде бы неудобно, время. Надо бы серьёзнее. Но прыскает всё равно, прикрыв рот ладошкой, зажав. Смешно.

Если бы была у меня, к примеру, сестра и, к примеру, младшая, я бы заботился о ней и волновался, когда она задерживается поздно, позже времени приходит домой. А так – не о ком мне волноваться, о себе, разве, самом :-).

...оборотов в минуту, двадцать четыре градуса восемнадцать секунд, – учли поправку на ветер, *тиктак*. Тик-так. Подгоревший хлебушек шлёпается на стол. Ползёшь по карте, оставляя след за собою, – карандашный, красный, такой. Не получилось, не получилось. *Не получилось*.

Значит, не о чем волноваться, – совершенно не о чем, ни к чему волноваться? — Нет?.. — Кажется, нет, ни к чему, – нет, конечно же, нет.

VI

Затевая очередной рассказ, диалог, очередную свою тягомотину из жизни русского моего, да и не русского какого-то языка, я всякий раз думаю о тебе, мой милый читатель, – так вот, скажи, – коли мы с тобой волею судеб, раз уж так получилось, находимся в разных, – то есть, нет – что это я? – в совершенно, прямо сказать, противоположных пунктах назначения и точках отсчёта – сто́ит ли, ежели таков наш расклад, не нами выбранный, стремиться друг другу навстречу, – только лишь ради краткого объятя на условленной нами половине пути?

Стоит ли петлять навроде кролика или зайца по глубокому снегу, прижимать уши, поминутно сверяться с показаниями счётчика квартирного электричества, спешить с Калининского на Преображенку и одновременно *наоборот*? Стоит ли, отвернув веко, целовывать радужкой неверную в быстротекущей своей прохладе, дрожащую каплю *Визина*? Так ли уж действительно и необходимо для нас с тобою, читатель, твёрдое знание о будущем, изложенное в терминах арканов, лассо и прочих мудрёных петелек, витиеватого вязания на гнущихся поблёскивающих *спицах*? К чему нам с тобою, скажи, допекать пустыми просьбами барышню в подземном киоске – неужто мы вторгнемся безжалостно в покой её созерцания ради двух алкалайновых элементов АА? Ах, нет же, нет, милый читатель, оставь. Оставь, не сто́ит. Пустое.

VII

— Я мокрая, мокрая, из меня течёт, расстояние ничего не значит, совсем ничего, ничего. — Да, любовь моя, мой напалм, да. Да, ты, agent orange листков, выпадающих из школьной тетради. Да, диоксин долгой жажды, зарин короткого вдоха – да.

Отъебись, собеседник. Потому что мне пора, – извини, – но мне пора, такие дела. Сердце просит покоя, но я не понимаю, невнятно, что называется, каша во рту – потому что в зубах у него зажата серебристая мышь, прошедшая от голода к жизни путём зерна – до конца. А на картах у него – дальняя дорога из пункта А в пункт, будто бы, Б. Отъебись, извини, так получилось. Возьми лучше в руки всё, что сказано выше о нас обоих. — *Разломи, – как очищенный апельсин.* — И читай с любого места. — *С любого слова.* — И думай только о себе, слышишь?

Потому что я – просто коротенькая железнодорожная ветка у тебя за окном. Спица, сестра, одноклассница, геодезист. Илона, песок, Брунис, *Победа*. Ашдод, Рига, Москва, Небесный Ерусалим.

— Можно я включу телевизор? А то уже начинается? — Ах нет, оставь же, оставь, пустое, оставь.

Становись каждым, кого ты хочешь. Отъебись. Читай с любого места. Я жду .

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ, ЛЮБИМЫЙ СНАЙПЕР ГОСПОДА БОГА

I

Когда, наконец, выдаётся два-три дня быстротекущей жизни, – два-три дня, когда хотелось бы остановиться, оглянуться, прочесть, к примеру, пару глав из Поля Рикёра или из Мишеля Фуко, наконец, когда выдаются под расписку эти два-три дня, обнаруживаешь вдруг, что пыль не вытерта, окна не чисты, и вообще, непорядок. Начинаешь вытирать пыль, мыть окна и вообще, приводить всё в надлежащий вид. Поль Рикёр вздыхает, в это время, только что поставленный на полку, рядом с ним совершенно бесстыдно раскинула ножки нашедшая свою смерть где-то в окрестностях Ванкувера морская звезда, чуть поодаль – глиняный колокольчик в виде котёнка, картинка малоизвестного латиноамериканца. На последней изображён юноша, прикрывающий лицо рукой. Он стоит, чуть отвернувшись от камеры. За ним, на далёком заднем плане – бразильские аналоги сталинских высоток, skyscrapers эпохи экономического чуда. Картинка называется: "БОЛЬ БЕЗ ЗАБВЕНИЯ". Дурацкое название. И картинка, если вдуматься, так себе. Но это единственная, кажется, вещь, к которой я отношусь точно так же, как уже почти два года назад.

II

У меня есть одна знакомая – мы как-то сидели с ней в малоинтересном баре на улице Ленина, самый центр города, она ела мороженое, а я пил третий по счёту двойной Red Label, со льдом, но льда поменьше, – а то ёсть в провинциальных барах американская манера забивать стакан с виски льдом по самую голову. Она, как это обычно бывает, рассказывала ВПС о том, как трудно сложилась, – то есть, почти не сложилась, жизнь; поехала в большой город за любимым человеком, а в большом городе, как оказалось, жить трудно на уровне невозможно – в основном из-за климата. Он отказался вернуться, родившись на востоке, умирать лучше на западе, лишних три часа жизни, вопрос о продолжительности которой, в конечном счёте, упирается в место пребывания, а вовсе не во время, как ни крути. Она, знакомая ВПС, вернулась, наплевав на эти самые три часа, и то сказать, не мёрзнуть же семь месяцев в году из-за такой мелочи. Лучше, всё-таки, один раз рожать, чем каждый день бриться. Там, в маленьком городе, всё очень хорошо, люди спокойные и доброжелательные. Случайный водитель вдруг заговаривает с тобой на хорошем немецком, приняв за гостя из объединённой Германии, пиво дешёвое, девушки несказанно красивы. Но чего-то недостаёт ей, Ирочке, Ире, Ирине, хрупкому бездетному ангелу в должности менеджера по продажам. Есть что-то, чего слишком мало, чего всегда не хватает. И если бы вдруг мы случайно, можно сказать, чудом узнали бы, что же это такое, – то приблизились бы к разгадкам всех остальных загадок так близко, как только возможно.

III

Я очень люблю простые фильмы. Про Рэмбо и Шварценеггера. То есть, про крепких орешков, которые умирают, но не сдаются. А когда в них попадает с пяти метров баллистическая ракета, им от этого только лучше. Так устроено их тело – в отличие от моего и подавляющего большинства встречавшихся мне в этой жизни. Вообще, хорошо бы обладать таким абсолютным телом, в котором ничего телесного. Обычное пьёт чай и болеет. Абсолютное сражается оновременно на всех фронтах. Причём я настаиваю на Рэмбо и Шварценеггере. Джеймс Бонд не подойдёт. Он относится к себе бережно, кутается во фраки, бабочки, пьёт martini с водкой. Такое тело не боец на этом свете. Слишком много блондинок-посвети-в-рот-фонариком-чтобы-у-меня-зажглись-глаза. Нам это не годится. И вообще ничего почти не годится. Кроме простых фильмов, простых. Чтобы ракеты одна за другой, и в одиночку армию небольшого островного государства, и каждый вопрос, даже самый невинный, слышать как "Кто это говорит?". И отвечать без тени страха: "ОДИН ИЗ СНАЙПЕРОВ ГОСПОДА БОГА!". Любитель простых фильмов. По всем стенам развешаны оскаленные черепа воробьёв. И не в правде Бог, а в силе и в меткости.

IV

Другая знакомая Вашего Покорного Слуги, Таня С., редко приходит на встречи с ним, которые сама же и назначает. Так редко, что однажды он понял: ей вовсе не так уж хочется его видеть, только она сама об этом не знает. И думает, что у неё много работы, или нужно утешить оказавшуюся в трудном положении подругу, или ещё что-либо. Теперь трудно докопаться до настоящей причины и, как на хроматографической колонке, отделить её от многочисленных поводов. Потому что прошедшее время не обладает свойствами ионообменника. Мы редко встречаемся. Раз в два месяца – или в три. Столько раз, сколько ей требуется, чтобы избавиться от чувства вины. Неизвестно откуда взявшегося и Бог знает, за что. Но пока эти короткие встречи время от времени случаются, из хроматографической колонки памяти ещё кап-кап, что называется, влага. Слёзы, да и только, смешно сказать. Ректификат, чистая фаза.

V

Ребёнок рвёт, мучает бумагу, пока она не заговорит языком непереваренного дерева, языком сырой целлюлозы. Но и тогда этот мальчик или эта девочка не останавливается, а начинает катать из бумаги шарики и запихивать их себе в рот, смачивая слюной – так делают насекомые, например, осы. Осы строят себе гнездо – страшный серый шар со множеством маленьких нор внутри. И ребёнок строит у себя в теле чёрное живое гнездо для всех своих слов. Бумага пускает в ребёнка корни, срастается с селезёнкой. Так начинается симбиоз, сначала слышны только интонации, потом отдельные слова, короткие полупредложения, извивающиеся личинки взрослого языка. "Нельзя рвать книжки! Нельзя! Нельзя! Никогда так больше не делай! Нельзя!". Боль, слёзы, условный рефлекс. Но уже поздно, внутри нарастает мёртвая тишина, ультразвуковой грохот, мокрый свист ожившей бумаги.

А из тёмной комнаты, из родительской спальни, приоткрыв дверь, выглядывает в щёлочку Шалтай-Болтай. Смотрит на меня, вырывающего и засовывающего в рот очередную страницу. Смотрит, видит, хихикает. Белым, тонким языком нетерпеливо облизывает сложенные в смешную трубочку губы.

VI

За моим окном – антропогенный ландшафт, индустриального вида пространство – до самой Щербаковской улицы. Когда в восемь часов утра я, с трудом откинув тёплое одеяло, подхожу к окну, на меня глядит оттуда неподвижная, как бывает обычно за городской чертой, тишина. Мы с ней смотрим некоторое время друг на друга, потом я вздыхаю, отворачиваюсь, ставлю электрический чайник, иду умываться. Потом убираю постель, включаю компьютер, снова подхожу к окну. Из трубы в глубине пейзажа подымается небольшой дымок. Взгляда хватает чуть дальше, чем мёрзнувших цехов и гаражей, чуть-чуть дальше. Я почти вижу твой дом, – там, где заворачивает одиннадцатый трамвай. Отворачиваюсь от окна, прикрываю лицо рукой. Щёлкает, вскипев, чайник. Китайский зелёный пух всплывает, укорачивая прозрачную, неправильной формы, струю. Темная, горячая масса выдыхает тонкую струйку пара. Я снова подхожу к окну. "Привет", – говорю я, обращаясь неизвестно к кому. "Привет", – отвечает мне кто-то. Потом мы оба возвращаемся – каждый на свою кухню. У нас вообще не слишком много общего.

VII

Максим. П. приходит ко мне, поздно, на работу.

Идёт дождь – такой тяжелый, ноябрь на дворе, начало, может быть декабря, в комнате горят только два монитора, свет почти весь выключен, не люблю, когда свет. Говорю ему:

– Ну пойдём, что ли, пива выпьем.

И мы идём. Идём, ветер, проспект едва шевелится, дворики светятся, осень. У нас обоих плохая память, нам трудно разговаривать друг с другом.

– Я не люблю придумывать истории, – говорит он мне. Мы уже у самого входа. Мы останавливаемся и долго курим. Долго курим, потому что не можем вспомнить.

Совершенно почти ничего, поверите ли, не можем вспомнить.

VIII

Тут никуда, как говорится, не денешься. Хотя это совершенно частная, конечно, проблема. Довольно плотная ткань, гистологический анализ не выявляет особых там патологий – за исключением некоторых, совсем уже никому, кроме отдельных клеток, не интересных. И вот, одна клетка говорит другой: "Слушай, что-то у меня там... Ты позвони, что ли, наверх." Та звонит – как откажешь соседке? И вот: телефонограммы – азот, медь, фосфор. Я хватаюсь за затылок. Что за чёрт? Что у них там? Клетки довольно потирают руки, обнимаются, хлопают друг друга по спинам. Получилось. Дошло. Я делаю большой глоток. За окном, возле остановки, с визгливым звуком тормозит троллейбус. Ах-х, Рио-рита... Титры. На плёнке Шосткинского химкомбината.

IX

Писатель, подозрительное существо, подозрительное. Не в том смысле, что репортаж с рублём в кармане и всегда начеку. А в смысле не очень благонадёжности. Он совершенно иначе имеет объяснять, что у него именно там болит – вроде ребёнка. Ничего не поймёшь. Нормальный доктор от таких дел приходит в бешенство. Да и писатель сам, в сущности, доктора не любит. И если заболевает, к врачам не обращается, а извлекает из болезни свои дивиденды. Михал Палыч, например, любит цитировать своего знакомого, какой-то знакомый выражался в том смысле, что "Мама умерла? Это хорошо. Будут чувства – будут стихи". И то правда. Вон поэт Айги какие замечательные стихи по такому, как раз, случаю написал. Подозрительные существа, опасные. Чужие, вроде сороконожек. А если сороконожке ножки начать отрывать, то я не уверен, что она что-то почувствует. Плохо меня учили биологии в школе, к тому же, хорошая зрительная память. Я вставал, учебник лежал передо мной, я опускал глаза, запоминал абзац, поднимал глаза, произносил вслух, снова опускал глаза. И так далее. Поэтому про сороконожек я понимаю плохо. А кто вообще что понимает? К тому же, следует учесть, что у сороконожек не всё в порядке с устной речью. Вам когда-нибудь хоть кто-либо из насекомых жаловался, что, мол, ножка болит? Или крылышко? Нет. А если они называют это иначе, то это что-то другое. Не то. Азот, медь, фосфор, которые тоже – просто слова.

X

Ну, сидел на стене. Ну, свалился во сне. Чуть ли не первая история, которую рассказывают каждому ребёнку в этом секторе географической карты. А что он сделал для нас? Что он сделал для того, чтобы нам хоть немного лучше жилось? Хотя бы одному коннику, или там, ратнику. Хотя бы бедной морской звезде по прозвищу Ножки Врозь. Хотя бы глиняному коту. Хотя бы мальчику бразильскому, у которого несчастная, вероятно, любовь, ну или что там... А ведь ещё Таня С., Арнольд Шварценнегер, Ира, Максим П., поэт Геннадий Айги, все остальные. Удивительно, но благословенны именно эти – сидящие на стене и болтающие ножками: ибо они склеены будут, и их будет всё, что полагается. А мы всё вытираем пыль, видимся редко, и то через оптический, если можно так выразиться, прицел, сидим где-то в баре на улице Ленина. В общем, делаем всё как положено, как обычно.

Правда, случается иногда проснуться не на рассвете, а посреди ночи – от того, что во сне закружилась вдруг голова, или стало холодно, одеяло сползло. Тогда мы лежим в темноте неподвижно, прислушиваясь к глухому топоту удаляющейся невидимой конницы, ловим последний, затихающий неизвестно где отзвук строевой песни лучших ратников королевства.

ВПЕРЁД, ВПРАВО, ВВЕРХ

Я смотрю: вперёд, вверх, вправо, снова вверх и вперёд. Я делаю шаг. На мосту передо мной идёт птица, сизарь, отвязная походочка подростка. Рапид: широкий жест крыла, кончик пера медленно чиркает по асфальту, затем по воздуху. Рядом, что-то бормоча под нос, еле тащится оранжевая цистерна с огнеопасным содержимым. Я успеваю рассмотреть каждую царапину, чёрный мох копоты, осевшей на выхлопной трубе. Я смотрю вверх, потом вперёд, снова вверх. Потом я падаю – на правую руку, в которой по счастью, ничего не оказывается. Позавчера я видел во сне собственную фотографию. Ты рассматривала её, я стоял у тебя за спиной, ты качала головой, но я не видел твоего лица. Поза, впрочем, выражала сожаление. О чём только? Вперёд, вверх, вперёд, вправо, вперёд. Вверх. Звонит будильник. — Небо, – говорю я, не глядя на него, – сегодня красиво, жаль только, холодно. — Майя, – говорю я, – что ты делаешь сегодня вечером? Может быть, поужинаем вместе? Я, возможно, рано освобожусь сегодня. — Рано? Что значит рано? – отвечаю я. – Время – никакая не вещь, следовательно, ничто сущее, но остаётся в своей преходящести постоянным, не будучи само, в отличие от сущего во времени, чем-то временным. — Где, – я обнимаю её за плечи, – где и каким образом тебе усвоилась эта ужасная манера выражаться? Впереди? Вверху? Справа? Отец говорил, он знал одного курсанта в Академии Связи, тот вздумал читать Гегеля в подлиннике, но не выдержал и сошёл с ума. Шаг вперёд, шаг вправо. Сизарь, руки в карманах зелёных слаксов. Вид хамский, как у Танского Лю Гун-цюаня. Последний имеет незапятнанное имя и литературную известность. Свои стремления отдаёт изучению книг. По заказу скорбящих знатных семей делает надписи на стенах. Имел в прошлом году больше десяти тысяч американских долларов годового дохода. Большая часть денег была украдена управляющими инвестиционного фонда. Вперёд, вправо, вверх. Кис-кис-кис. — Сегодня днём позвонила мне Женя Д. и сказала, что вела себя безобразно, причиняя мне неудобства. Это я вёл себя безобразно, причиняя неудобства себе. Бедная Женя Д.. Бедные люди, не точка, запятая Незванова. Хуже Татариновой. Кис-мяу, мур-мур. Небо, десять тысяч годового дохода – махнёмся не глядя? — От крови был ал платочек, – [www. Что-то-такое там ал. com/](http://www.Что-то-такое-там.ал.com/) Голубочек мой, голубочек./ Голубочек мой погибал.¹ — Над кроватью висят таблицы нового воспитания, а в кровати дети онанизмом занимаются. Я смотрю и вижу, видимо-невидимо вижу: вперёд, вправо, вверх. Снова вперёд. Руки в карманах, походка уверенная, где-то даже развязная, эпилептоидный *habitus*, времени нет, сил нет, денег нет. — Разве так можно? Управляющие инвестиционного фонда – сплошь жулики и мздоимцы. Ты стоишь у меня за спиной или идёшь мне навстречу, мы спускаемся по лестнице в том месте, где Можайское шоссе пересекается с Аминьевским, продолжаем движение по направлению к Инициативной, поднимаемся на пятый этаж. 443 17 92 дождливое лето 93-го года. Халат твоего старшего брата, разговор ночью на кухне, коричневые стеклянные чашки; исчезнувшие теперь из киосков сигареты State Line. Take it easy, вперёд, вправо, вверх, state line вьётся дымок. Шаг вперёд, холодное лето, запад Москвы. Enter new URL. Thank you, try again later.

¹ Netscape cannot locate the server [[www. Что-то-такое там ал. com.](http://www.Что-то-такое-там.ал.com/)] This server does not have DNS entry.

Мне был сон, будто бы я лежу в больнице, в Новосибирске², а затем сбегая оттуда, обманув доверие докторов, а также медицинского персонала среднего и низшего звеньев, медсестёр, нянечек и сиделок. Сбегая, чтобы разыскать в Академгородке живущего там Пашу Б. И вот, я иду по вечерним улицам зимнего N-sk'a, бесстрашно плыву по тёмным ледяным дорожкам в направлении Академгородка, вперёд, вправо, вверх, и вдруг вижу, что будто бы ты идёшь мне навстречу в зелёном пальто, и похожа не на себя, а, скорей, на твою маму. Я заговариваю с тобой, но ты отвечаешь мне неохотно, – в том смысле, что тоже очень долго лежала в больнице, что от моих слов тебе больно, давай лучше не будем. Тут я поскальзываюсь, падаю, ты помогаешь мне подняться, но смотришь в сторону, я не вижу твоего лица, хотя понимаю, что поза выражает скорее сожаление, просыпаюсь от звонка телефона. Звонит Саша Эйдинов. — I see friends, shakin' hands...saying: how do you do... — Боясь услышать, что эти двое решили пожениться, не спросил у него, какой же был первый шок. Теперь это уже не avoid, а попытка пристроить три с половиной, четыре года собственной жизни по разным текстам, отдать на усыновление бездетным поэзии с прозой. — Хотя, конечно, все жесты здесь по необходимости двусмысленны, – как замечает Jacques D., – например и мои. Я смотрю вперёд, потом вправо, потом вверх, снова вперёд. Я делаю шаг. Твои слова шепчутся между собой и смотрят на меня как-то странно.

— Извини, что я пишу тебе. Преступления письма чудовищны. Международный Трибунал по Правам Человека выдал ордер на арест исходящего сообщения. Forwarding is strickly prohibited. Those exchanging letters are subjects to severe penalties. — Костный мозг, в коем помещаются корни жизни – вот центр раны, фединг, отсутствие, давай лучше не будем. Это окончательное начало. Где только усвоилась мне эта сомнительная манера выражаться посредством всего что попадает под руку? — Майя, Майя, я сам придумал тебя, ты меня не знаешь, но от меня многое зависит в твоей жизни. Ты даже не представляешь себе, какую невероятную власть я осуществляю над тобой. Я – твоё государство, Майя. Твой Большой Брат, оттопыренная ушная раковина ФАПСИ. Я могу сделать так, что тебя не станет. Могу отдать тебя каждому, кто захочет тебя, сообщив ему URL. Но скорее всего, я не сделаю этого. Потому что ты ни в чём не виновата. Потому что у меня никого больше нет. И даже ты не уверена, что я существую.

Помню собирал я вещи как-то раз, переезжая на другую квартиру. Собрал, отнёс Диме пакетик с бабочкой, туда же вложил небольшое письмо и сказку. Вернулся и долго сидел на коробках с книгами, возле пакетов с вещами. Думал, что вот, вроде, как на похоронах: вещи большие, маленькие – вещицы. Картинки на стенах. Десять месяцев прошло, десять тысяч вещей. А зачем всё это было – Бог весть.

— Те, кто не вернутся, те не вернутся. То, чего нет, потерять нельзя. Что потеряно однажды, так и останется в темноте. — В зеркале ветрено, в телефонной трубке темно – как сказал однажды Паша Б., перевирая Осипа М.: улица Терешковой, зелёные слаксы в крови, худые плечи голубя. Плюс очередь за хлебом и мраморная строгая стела на Дорогомилловской заставе, в виду Триумфальной арки и единственного в этом городе КФС. — У тебя жесты и смех героя боевика, – сказала мне как-то моя Майя, в прошлом Ляля. – Когда ты умрёшь, от тебя останутся одни буквы. А пепел будет такой лёгкий, что

² Палата моя – на седьмом этаже, Настя Б. и Борис П. тоже всплывают откуда-то, ходят по коридору.

придётся положить в урну много зелёных и синих стеклянных шариков. И кто не вернётся, тот не вернётся – несмотря ни на что.

Майя моя, Ляля, сказала это в тайной надежде сделать мне, наконец, больно. Но ведь я сам придумал эти её слова. Эти твои слова. Эти наши слова. Эти мои слова. Поэтому мне не больно. Я принимал зимние соли невещественных металлов, растворяя их в тёплом вечернем молоке чёрных овец и белых коров. Я приобрёл резистентность к ядам известным и неизвестным. — Небо, – смеясь, отвечает мне Майя, – небо, смотри, Нэш, какой роскошный закат. Я пошутила, не заводись. Махнёмся не глядя? — Sure, Ляля-vita, конечно. К сожалению, ты не можешь меня обидеть. Мы-то с тобой стоим по разные стороны, а я, к тому же, говорю не от того, что знаю, а от того, от чего говорю – что бы это ни означало. У меня смех и слёзы героя боевика. К тому же мне, вообще-то, налево. У меня первое значение слова *ged* из толкового словаря: ставящий во главу угла гражданские и общественные свободы. И мне не страшны ядовитые сигареты State Line. Я это *take easy* и *never mind* вообще никогда. Я делаю шаг.

Вперёд, вверх, вперёд, снова вверх. Вернувшись домой, стал развешивать базилик на кухне (сушу на зиму) и вдруг поймал себя на мысли, что хорошо бы купить *sashe* – перебить табачный запах, не слишком явный пока ещё. Сходил за покупками, принёс домой печень, вермут, грейпфрутовый сок, овощи для салата. И хлеб. — Весь вечер провели на мосту, вдвоём. Я и птица одна ходила вокруг меня, грузовики гудели, приветствуя нас, крылатых. Небо красивое, но было уже прохладно. И она махала красно-жёлтым флажком, древко которого я потом увидел во сне. Мы пересеклись как Аминьевское с Можайским, мы разошлись как Кутузовский и Большая Дорогомиловская. На последней заставе. Автобус, уже без нас, полз по маршруту №157, на юго-восток. Опустевшая Двойка скользила, подбираясь к замёрзшему Центру – мимо Спорт-бара, мимо *BHs*, мимо РАТИ. — Танский Лю Гун-цюань, опустив затемнённое стекло своей Volvo смотрел на нас с сожалением, прикидывая, как бы использовать всё это при сочинении очередной блядской надписи на следующей стеле по заказу скорбящей знатной семьи. — Дорогой Танский Лю Гун-цюань! Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой. Точнее, сделать предварительный заказ. Поскольку едва ли найдётся скорбящая знатная семья, которая даст себе труд озаботиться надписью на моей стеле, я прошу Вас, уважаемый Лю Гун-цюань, написать на оной стеле следующее: "Я, лежащий здесь, говорю: "Пока день за днём тонет в серой безъязыкости мира, всё ещё может быть спасено. Но день, когда мир обретёт слова, когда конституируется его речь, станет днём приговора всем нам, слышащим." И ещё знай, путник, – я, лежащий здесь, не жесток, и зла особенного никому не сделал, – кроме некоторых".

Вышеприведённые слова, уважаемый Лю Гун-цюань, должны быть написаны в нижней части стелы. А верхняя часть стелы должна быть особым образом искривлена: сначала *вперёд* по ходу движения путника, затем *вправо*, снова *вперёд* и, наконец, *вверх*.

Вверх, наружу, к вершкам и побегам жизни, где многие из нас ещё не отвоевали положенный срок за родную речь – не легли ещё в глинистый, истерзанный телом холодный язык последнего рубежа.

НИКОГО КРОМЕ ВАС

Они говорят, чтобы я писал про людей. А я не буду о людях и не хочу. А буду о себе. Потому что я – это тот единственный человек, которого я с трудом, но всё-таки иногда узнаю в лицо.

И сколько уже прошло, можно сказать теперь, лет, но я всё как-то как в песенке still got the blues for you. Джули-Таня рассказывала мне как-то о своём переживании, с этим самым связанным. Как будто рассорилась она со своим очередным возлюбленным, вышла из арбатского переулочка, а тут как раз Гэри Мур из какого-то киоска. А теперь эти киоски почти уже все снесли.

Вообще, трудно расти корнями из прошлого, или всё глубже в него вращаться, не очень даже понятно. Трудно – потому что земля сырая, плотная, чёрная, а слова белые и мнутся легко, – как бумага. Хотя теперь и это – скорее метафора. Экран не мнётся, разве что с s-pincusion переборщить при настройке.

Вот куда деваются силы, – сказала Л., – доставать слова ниоткуда, из ничего. Вот куда деваются силы, которых нет.

Писать на русско-английском (оба со словарём).

И хотелось бы простудиться, чтобы кто-нибудь ухаживал и приносил апельсины. И чтобы была зима, а апельсинов было бы не достать, как в прежние времена.

Возле дома – церковь, у которой похоронен, как мне говорила в детстве мама, какой-то юридивый. Теперь я вырос и узнал, что это Корейша Иван Яковлевич там похоронен, и на могиле его всегда лежат живые цветы. Я не видел этого, но так говорят. Возле церкви – Севастопольский пруд, одноимённый кинотеатр. Кинотеатр русской славы. И к пруду языками, как снег ранней весной, сползает парк, деревья, зимой дети катаются там с горки. А в другие времена года можно кормить уток.

Жалко проходящего мимо времени, которое каждую минуту становится уже не моим, а отходит к чему-то, что мне его одолжило. И снова я никуда не поеду этим летом.

Сосед у меня старенький, помогал мне ломать дверь, когда сломался замок, а я приехал в двенадцать часов ночи откуда-то и не мог войти. Вынес топор и даже предлагал залезть с балкона. А ему уже с виду восьмой десяток. Никак не могу запомнить его имя – какое-то очень простое, русское, вроде Иван Васильевич, Алексей Петрович, Пётр Андреич.

Иногда и мне хочется так жить, чтобы была семья, женщина и ребёнок, кошка, диснеевские мультфильмы на кассетах и в зоопарк в воскресенье. Копить деньги на стиральную машину, чтобы ей поменьше возни, вместе ездить в отпуск. Но это нечасто бывает, а обычно я просто устал и всё. Ну, ещё немного грустно.

Да, я писатель, хотя мне трудно в это поверить, потому что у меня нет совсем читателей. А как же я без этого? Без этого можно только в самом начале, когда безо всего можно, и даже без дома, и без денег, а так только. Кто-нибудь, будьте мне читателем, пожалуйста. График свободный. И потом перспектива роста – можно потом ещё кому-нибудь стать более важным читателем. А я вам буду покупать апельсины, если Вы вдруг заболаете. И яблоки, какие Вы любите. Хотя лучше, конечно, Вы не болейте.

Вот я сел на скамейку рядом с кошкой, и мы с ней говорили. О чём-то не очень важном, а так. Болтали.

А вокруг ходили голуби и летали воробьи. А люди наоборот, молчали и даже почти не двигались. И вообще их почти не было, а только дети были. И тоже молчали, копали песочницу. Искали что-то.

А потом, когда мы начнем уже друг друга приглашать к себе на похороны, хотя до этого ещё далеко, о чём мы будем говорить – о работе, о детях, вспоминать, как пили все вместе в 15-39, левая комната. И моё несчастье в том, что я уже об этом думаю, а никто больше не думает. А если и думает, то не говорит, потому что неудобно, что люди скажут. И перед старшими неудобно, и перед собой. И вообще. Они, эти никто, по-своему – и по-моему – правы. Незачем это раньше времени. А сейчас вроде бы надо делать карьеру, растить детей и ждать ещё, ещё бóльшей любви, чем раньше была.

У нас даже и слова нет, не знаем как посмотреть на это. Наэто. А жизнь продолжается и ни на кого не глядит. Потому что просто не хочет.

Мне недавно пришло письмо по электронной почте от старой знакомой, в которую я раньше с нежностью был (по-летнему, как бывает) влюблён. А она пишет по-английски теперь из Чикаго со смешными ошибками. Я прошлым летом даже дал одной девушке из своего рассказа её имя поносить. А получилось надолго. Мы теперь будем переписываться, потому что она скучает.

И вот, я сел на ту скамейку, рядом с кошкой. И мы начали загадывать друг другу загадки среди деревьев. И мы ездили потом на *a* и на *b*. *A* упало. *B* пропало из видимости. А мы остались фактически один на один и лицом к лицу. *A* и молчало, копало песок детской ладошкой и всё думало: *куда они подевались?*

Когда я думаю что-нибудь написать, то ничего заранее не придумываю. Просто сажусь пишу, стараюсь поймать какую-нибудь свою интонацию на ходу. А то мне не нравится придумывать, и я не умею. Придумывать глупости про девушек, молодых людей, как они их друзья и друзья их друзей. И не друзей. Как они ходят и выглядят неизвестно для кого, ездят в метро, на автобусе и ждут электричку. Какое время года, зима весна лето осень, что они делают в выходные, как им живётся там вообще.

И про себя мне писать тоже не хочется. Не нравится. Потому что почти ничего не происходит со мной. И вот я пишу про слова. И про предложения – с запятыми и без. Будьте мне, пожалуйста, читателем про мои слова. А я Вам буду писать письма, когда Вы соскучитесь. И Вы небудете плакать. И будет Вам счастье.

“Верни мне моё время, которое я тебе одолжило”, – говорит мне моё будущее. А прошлое моё молчит и отворачивается. И плачет, и не ходит никогда гулять. И вечно опаздывает на работу, одни неприятности. Как им там живётся вообще? Им никак не живётся, даже непонятно какое время года совсем, и что со всем с этим делать. Бедные они, бедные. Даже не догадываются, что про слова, а не про них. Как мы – когда нас ещё не было.

Мы сели рядом, у пруда, среди деревьев, на землю. И говорили о чём-то неважном. Так просто болтали. *И* копало песок и играло само с собой во что-то. И мы загадывали друг другу загадки. Нас окружали строгие *a* и *b*, стояли повсюду. И людей почти не было.

А птицы ходили вокруг нас и залетали нам в самое сердце.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Будь со мной, будь со мной, будь со мной всегда ты рядом, – как поётся в одной лёгкой песенке моих полушкольных времён. То ли это, с чего приличествует начинать? Начинать что? Не знаю. Не стоит и спрашивать. Никогда не знал.

Постепенно успокаиваясь: ну да, обычная история. Она такой человек, простого, в сущности, рисунка, незатейливого, к саморефлексии не склонна, ну и вообще к рефлексии, нет, – но развитая сенсорная сфера. Эмоции тоже да, – как бы, – но существуют в отдельном немного контейнере и извлекаются на свет божий не в лучшие минуты жизни, но чьей?

Так, попробуем: моя, её, жизнь вообще. От нуля до трёх, соответственно, баллов. Так, хорошо, переход хода, ноль баллов. Зато вам интересно. Ну хорошо. Хорошо же. Если у вас есть ожидания, они будут обмануты.

— Это напускной такой у меня немного цинизм, Ника – безо всякой передней мысли, – ну, ты же понимаешь всё, мы же взрослые вроде люди тут собрались, не дети уже. Хорошо. Ну, начнём, скажем, так: на дворе, ощетинясь, стояли десятые числа декабря такого-то года. Густой туман накрыл город. Если бы не так рано темнело, мы, возможно, приняли бы всё это за раннюю чересчур весну.

Возле самого окна стоять холодно, дует, а вдалеке светятся огоньки не совсем ясного мне назначения, возможно, что взлётно-посадочные, а возможно, наоборот, такси едут – забрать меня, увезти. Куда-то туда, где *где-то там*. Тёплые такси. Жёлтые. Зеленоглазые. Одноглазые.

— *За что*, – спрашивает она, – *ты его любишь*? Ну, за мою прошедшую молодость, которую я плохо как-то успел, за пару-другую несбывшихся каких-то надежд мелких, за всякое такое, you know. Люблю, ничего не могу поделать. Да и зачем бы?

Постепенно снова успокаиваясь: *вот так живёшь-живёшь*, – говорит он, – ходишь на работу, позволяешь себе деловой полужавтрак за сто, кажется, тридцать рублей, смотришь, как Галкин весело за Таней Арзиани ухаживает, не знает ещё про мужа. А такси уже едут, чтобы забрать нас. И гостеприимно распахнуты створки лифта. *Вам какой?* – спрашиваем мы одним взглядом. *Нам выше, не беспокойтесь* – тоже одним взглядом. Ну, ещё какие-то незначительные, может быть, жесты.

И вообще происходит жизнь такая какая-то. Только пиво не включено в стоимость.

— *Она до сих пор снится мне*, – говорит она. *Так позавчера в моем сне, она сидела передо мной, обнаженная. Я прикоснулась обеими руками (пальцы на каждой сложены щепотью) к её соскам, а потом опустилась ниже, раздвинула ей ноги и стала целовать её там. Трудно поверить, но она никогда этого не любила.*

— *Я выхожу из дома*, – продолжает она, – *и бегу вверх по дорожке, вверх, от дома, дворами бегу к метро, рядом с которым торгуют всякой всячиной мелкой, к моей жизни отношение имеющей редко.*

— Я выхожу из дома, — повторяет она, — и бегу вверх мимо своей школы, время от времени встречаю учителя физкультуры, он ощутимо постарел, хотя и меньше, чем можно было подумать.

— Вот моя поэтика, — говорит Тимур Наташе, — позволяет мне рассказывать о таких вещах. Р-раз и всё. А вот его (показывает на меня, — с.Тл.) — фигушки. Я зачем-то пытаюсь ему возражать. Моя поэтика мне вообще мало что позволяет. Увы.

Нужно, чтобы был адресат. Будь со мной, мой адресат. Будь со мной всегда ты рядом. А то мало ли что может случиться. Хотя обычно ничего не случается. Нечему случаться.

— Привет. — Привет, дорогой, как жизнь? — Ничего, как сама? — Сегодня вот на работе задержалась. Вчера, наоборот, пришла раньше с утра. Стараюсь вообще как-то... сказать... оправдывать доверие. Шеф мой, начальник мне — гигеровский чужой. Только, unlike the aforementioned, меняет цвет. Вчера он, скажем, казался мне синим. И вот, сидит он, синий совершенно, КРАСИВО ПЕРЕЛИВАЕТСЯ, ПОБЛЁСКИВАЕТ И ИЗДАЁТ ПОТРЕСКИВАЮЩИЕ ЗВУКИ. И в этот момент мне вдруг показалось, что это не в кабинете он сидит, а как бы за роялем. И легко так прикасается к клавишам. И я унеслась куда-то далеко-далеко. А он в это время... так красиво, так мелодично... И мне стало легко-легко. — Так тебя что же, уволили? — Ну да. — Ага, а на что же мы теперь будем жить? — Знаешь, ради такой красоты... — Знаю, знаю. Ты мне лучше про Нику расскажи, сто лет её не видела. — Про Нику? Ника, Ника, а что, собственно, Ника? Ну, хорошо.

Трудно представить себе историю более банальную, переходящую, собственно говоря, в отсутствие истории как таковой. Девушка двадцати двух с половиною лет, из хорошей семьи, получающая образование за счет одного всем известного отечества, с явным напряжением сохраняющего на лбу последние добрые морщинки патернализма. — Ника, помаши крылышками, а?

Ника послушно машет, потому что работа такая, начальство хотя и хорошее, но требует, тем не менее, и вообще, так положено. Идём с Никой вниз по улице Горького, мимо магазина "Российские вина", мимо магазина "Подарки". И мимо остальных магазинов. Дождь, но немного, так, моросит — начало зимы. — И вот, представляешь, — рассказывает она, — в последний день ему нужно перевести чуть ли не двадцать страниц какого-то чудовищного контракта, какие-то кассовые аппараты, ну я и говорю, что ничего, мол не получится, я же не программа "Сократ", а человек, что бы Вы на этот счёт ни думали. Он смотрит на меня так строго... — А ты что? — А я сажусь переводить.

Ника садится переводить. А к утру, значит, кассовые аппараты благополучно щёлкают всеми своими блестящими клавишами, отсчитывают доход и высчитывают сдачу, а также свидетельствуют отчисления на нужды малоимущих слоёв населения. Странная какая-то причинно-следственная связь, до которой нам ещё расти и расти.

Контракт, переведенный Никой к утру на столе шефа. Шеф морщится, потирает худую шею, а Ника думает: что бы он сделал с К., если бы тот у него служил – уволил бы, вероятно. Шефу же в это время не до контракта. Ему снилось, что он стоит почти в полной темноте посреди степи и пытается зажечь спичку – *зачем?* Спички гаснут одна за другой, шеф просыпается и идёт на кухню пить воду. Утром встаёт совершенно разбитый. Английские слова двоятся, троятся перед глазами, но деваться некуда, сейчас приедут.

Сейчас приедут, вот, вот они, матушка, на крыльцо восходят, приехали. Ника рассаживает всех в переговорной, ветерок слегка колышет серые теперь, бывшие когда-то белыми, жалюзи. *Всё когда-то было белым* – думает Ника. Но довести до логического конца эту чреватую непонятными следствиями мысль ей мешает начавшийся разговор, в котором она, Ника, собственно говоря, не участвует и даже вынуждена, согласно правилам, прятать свою врождённую выразительную жестикоуляцию куда подальше. Она замечает какие-то мелочи, которые не должны, казалось бы, внушать никакого подозрения: вьющийся дымок сигареты, стук, с которым один из мужчин кладёт зажигалку на полированную поверхность стола, прочую ерунду в том же духе, говорит в это самое время какие-то слова. Шеф в это время пытается зажечь спичку. Потом ещё одну. Ещё одну. Спички гаснут. Наконец, в коробке уже пусто, он роняет его себе под ноги и поднимает голову. *This agreement shall be governed by the laws of Russian Federation, hereinafter referred to as “Motherland”* – Ника зачитывает английский вариант договора. Зажигалка с глухим стуком опускается на стол. Один из мужчин, перебирающий в подвижных пальцах сухие стебли тысячелистника, прерывает её: *нет, нет, постойте, мы хотели бы получить какие-то твёрдые гарантии того, что...* Ника переводит сказанное, лениво пытаясь в то же самое время додумать мысль о том, что *всё было белым*. — Я тоже был белым? Этот вопрос читается во взгляде шефа, который, преодолев наконец непроглядную темноту степи – откуда взялась степь в этом дорогом *светлом* офисе, куда хорошо зайти в разгар летнего дня, чтобы подставить обваренное потом лицо Samsung’у, прохладному, ангельской природы, устройству с блаженными ленивыми створками, направляющими на нас *белое*, арктическую благодать декабря, – вязкую, тёмную, под завязку набитую ветром, преодолев её, степь, *откуда бы она ни взялась*, встречается взглядом собой с Никой, с живым существом. — Помаши крылышками, а? — Я не помню, чтобы я был белым, Ника, тайная любовь моя, я не помню. Я помню как был красным, пятнистым, кричащим, помню, как был целлюлозно-бумажным, бледным. Но не помню, как я был белым. — Ну, конечно же, ты был белым, – отвечает Ника. Бедный, ты просто забыл. — Я был белым, – повторяет про себя шеф, глядя на жалюзи, слегка колышущиеся от ветра, профильтрованного дорогой сплит-системой. Ну, конечно же, я был белым. Я просто забыл.

— Все поднимаются, уходят, медленно, по одному, чтобы не мешать им и вот, наконец, Ника и шеф остаются в кабинете вдвоём *над степью* вдвоём в пламени чиркнувшей спички. Только в отдалении, на холме, сидит, склонившись вперёд человек с сухими стебельками тысячелистника в руках, перебирает их, перебирает, створки арктической воздушной машины останавливаются, конец. — Слушай, пойдём-ка, мы с тобой тоже, пора нам, пусть они останутся одни.

Молодая девушка на экране, заметно уже беременная, месяце на восьмом, стоя на фоне окна, пытается прикурить сигарету. Чиркает спичку. Ещё одну. Ещё. Спички гаснут. Голос за кадром вкрадчиво, с лёгкой укоризной произносит: «Hey, maybe somebody wanna tell you something?». Затемнение.

Утром, протискиваясь к выходу из автобуса, торопясь неизвестно куда, но опаздывая, да, если бы только нам, белым, был установлен какой предел в нашей позиционной войне с теми же самыми, если бы только мы руководствовались хоть каким-нибудь планом. Но увы, у наших контрагентов полностью отсутствует стратегическое видение ситуации.

Ради достижения сиюминутных тактических целей они готовы пожертвовать всем, чем угодно.

Десятые числа такого-то декабря этого года, мягкая и даже смешная чем-то щетинистая петиция: Анна-Иванна, наш отряд желает видеть господ муниципальных советников, самолично господина Бургомистра и, желательно, Бога Живого, который свидетель как же нам всё это надоело.

— *Это должно быть ещё кому-нибудь интересно, кроме нас,* – говорит Тимур. Я снова пытаюсь ему возражать, хотя он, разумеется, прав. Другое дело, что для меня, например, никого кроме нас. И я знаю, что я не один такой. Если я знаю правильно, то разговоры в означенном роде становятся, в некотором роде, бессмыслицей. Зачем тогда их тут договаривать, размахивать бензопилой после того, как тебя убили в начале четвёртого уровня? Ну, или пятого, я не помню. Какая разница, не всё ли равно, в сущности, ну какая?

Разговоры апатридов.

— *So, what have you seen, my blue-eyed son? — Ну так, ерунду какую-то, папа. Двух подружек в автобусе, беседующих о том, о сём. Или это было в метро? Нет, кажется, всё-таки в автобусе. Потом я поехал в офис, сидел на переговорах, Ника вертела в руках бумажного голубя, потом мы ехали на такси и, кажется, целовались. А дальше я, папа, выходит что, ничего и не помню. Ну, почти, ты понимаешь.*

В городе середина декабря, туман, идёт дождь. Не хватает только моря поблизости где-нибудь: для завершённости картины. Чтобы легче было себе представить, что на самом деле мы не здесь. А напротив, сказать, там. Или во-он там, например, вообще.

Ну, и одиночества не хватает разве для более плодотворного истребления слов. Со временем мы истребим их все. Нечего. Нечего потому что. Don't think twice. It's alright.

Вверх, вверх.

— *Мы пишем*, – продолжает он, – *для того, чтобы нас читали*. Я возражаю, нельзя же взять вот так и немедленно согласиться. — *Мы думаем о дискурсе, о его жизни и смерти*, – не соглашаюсь я. Он смотрит на меня с усмешкой поверх очков. — *Это С. думает о дискурсе*, – говорит он, – *и я надеюсь, что ты, – ты тоже не думаешь о дискурсе*. — *Я о нём всегда думаю*, – улыбаюсь я. — *Мы пишем в расчёте на то, что нас будут читать*, – упрямится он. — *Как это честно!* – Юля, подавшись вперёд, восхищённо сверкает глазами, – *как это честно, Тимур*.

Ну конечно, я буду его читать. Мне ужасно нравится, как он пишет. Особенно в последнее время. И не мне одному. Хотя вот Нике моей, например, или Наташе К., работающей в журнале, опять же, «К.», для которого журнала я, возможно, буду писать статью про Ирвина Уэлша, почему-то не нравится. Но это исключение скорее из правил. Он, в отличие от, пишет про нас про всех. Мы поэтому будем всё, что он написал, пишет, напишет, читать – и заучивать иногда наизусть.

А ещё мне от *Холидэя* хочется плакать. А плачу я от митинового наоборот одного. Которое *памяти Андрея Сергеева*.

— Обычно я дохожу до основания моста. В выходные – да, и в будни, если идти днём, – там много народу. Рядом ярмарка, вещевой рынок, я покупаю там джинсы, ботинки & all that stuff, you know. Особое моё восхищение всегда вызывают выставленные в огромном неотапливаемом ангаре свадебные платья. Недорогой эрзац роскоши, которая должна, по идее, запомниться на всю жизнь – прежде всего самой невесте. Но так редко бывает.

Времена неподходящие немного. И декабрь к тому же.

Моя первая жена. Когда она уже ходила, я еще лежал. Первая. Почему первая? Как будто была вторая. Была? Леня записывать. Не было.

Без музыки, Ника, конечно, легче. С музыкой, зато, не так страшно. Но нужно, чтобы было страшно. А то как же иначе, – так мы подумали и согласились со всеми. Нужно, чтобы было страшно, а то ничего не получится. Ну и ладно, с другой стороны. Ну, не получится. Или получится. Страшно должно быть всё равно. А то что же? А то зачем же?

Без музыки-то.

Иногда, как если бы кто-то за мной следил, я захожу в магазин неподалёку от входа в метро. Магазин, в котором всегда толкуются не совсем трезвые граждане подозрительного вида, для удобства совмещен с милицейским участком, где как-то и сам я оказался однажды – за торговлю поддельными ангорскими кофтами в неустановленном месте. Меня отпустили быстро. Слишком интеллигентное выражение лица, чтобы долго держать. Молоденький блондин-омоновец почему-то заинтересовался, не из Алма-Аты ли я. *Нет*, – отвечаю, – *отсюда я, со Второй Пугачёвской*. Кофты даже не отобрали. До сих пор даже удивительно самому.

В магазине я покупаю бутылку некрепкого пива, которое хорошо пить с утра, пока голова свежая.

Будь со мной, – поётся в песенке. — *В песенке поётся, не считается, неётся*, – смеётся надо мной Ника, – *опять ты своё заладил*. Заладил, ага. Смотрю в небо, запрокидываю голову, подношу узкое горлышко к губам, глотаю, декабрь, ветер, Москва промозглая, зелёные огоньки жёлтых. Красные огоньки иногда зелёных и редко жёлтых. *Белые* огоньки разноцветных, подвижных. Слабые совсем огоньки карманных. Короткие, в ладонях трепыхающиеся, огоньки газовых китайских и американских бензиновых.

А так обычно темно. Степь. Ветер горлом идёт. Холодит сухим голубые, в никотиновой слизи, трубки трахей. Вымораживает измученную словами гортань. Хронический фарингит у меня, густой туман, светлое пиво. Я торговал поддельной ангоркой; я писал о том, что неинтересно никому, кроме меня самого и ещё четырёх-пяти; Ника рассказывала мне свои сны; я сочинял листовки о земле и воле; я размахивал бензопилой – в темноте уже, в неверном свете мерцающего приглашения DOS.

— Преображенка, семьдесят.

— Ну ладно, поехали

Я заканчиваю уже собственно.

Будь со мной. Будь со мной всегда ты рядом, – поётся в одной попсовой песенке. Вот они, перед глазами плывут, слова: часто английские, очень редко французские, русские всегда почти. Просто слова, без музыки, без Москвы, без разговоров о том, как нужно и как *хорошо бы*. Простой рисунок, Дима Галкин и Танечка Арзиани, alien, патернализм, Ника, кольцо с цирконом, крыльцо, сухие стебли тысячелистника, договор, потом мы, кажется, целовались, писали для тех, кто нас, возможно, будет читать, беседовали с господином Бургомистром, густой туман накрыл город.

Стояли десятые числа декабря такого-то года.

РАЗГОВОРЫ В ОТСУТСТВИЕ ТЕМЫ

Подзаголовок нынешней беседы должен был бы звучать как «провокация на иллокутивное самоубийство» - если вообще что-нибудь могло ещё звучать. Культурная ситуация: люди собрались за красивым и вполне даже не скучным столом, а беседа отчего-то не клеится. Ну, из этого положения существует несколько общепринятых выходов. Можно, скажем, поговорить о погоде. «Давно не помню такой зимы - чтобы два месяца держалось 238 по Кельвину». «Не говорите. Временами у нас в провинции скорость ветра достигала 0.87 морского узла». Можно шумно обрадоваться появлению раскрасневшегося с морозца А. «А, привет, А! Сколько лет, сколько зим, как поживаешь?». Последнее, впрочем, ненадолго. А сейчас выпьет водки и начнет жаловаться на начальство, западающий на клавиатуре твердый знак и идиотский драйвер принтера. Возможен также разговор о политике, после первых пяти минут которого хочется превратиться в воспетую поэтом игрушку «слоник мелодичный».

Можно еще говорить, к примеру, друг о друге и принципиально в рот ничего не брать кроме Делеза и Бодрийара. Для разборчивых предлагается Лакан и альбом Лизы Джерард 95-го года.

Оспинки еще вроде светятся себе незримо на предплечьях, но плотная ткань рубашек от Calvin Klein плохо пропускает свет. Обаяние героического идеала, к тому же, изрядно подпорчено господами Лимоновым и Летовым сотоварищи.

Особо удачливые пишут целые романы на какую-либо определенную тему. В таких романах преобладают глаголы свободного времени и существительные второго спряжения.

Для серьезных людей вроде нас всё это, ясное дело, никуда не годится. Расписаться в собственном бессилии, несомненно, существенно честнее. Поговорим о теме: во-первых, это безопасно. Любой другой разговор по накатанной дорожке незамедлительно приведет нас известно куда. Этот разговор никуда не приведет. Самоотрицание - надежно, выгодно, удобно. Поговорим о теме, т.е. о том, как бы нам половчее кинуть Логос, провести божество языка, на шермачка проскользнуть туда, где слова ясны и серьезны, а смыслы прозрачны как джин-тоник. Р-раз - и мы уже здесь. Ах, вы не уследили? Так надо было ставить Clifford.

Но с другой стороны, хитрить и выбирать способ поостроумнее вывернуться наизнанку как-то не совсем прилично. К тому же, вдруг хранение ключей от художественно-стратегического рая поручено какой-нибудь народной совести с традиционными ценностями наперевес - почему нам знать? Последним, кто вошел в Царство Небесное с черного хода был, кажется, император Траян.

Между тем, черные ходы существуют для крайних случаев. Совершенно не очевидно, что наш - из таких. Мы же не маргиналы какие-нибудь, а будущее русской литературы. Поэтому поговорим еще раз о погоде, порадуемся вслух встрече с кем-нибудь, кого уже не чаяли увидеть; на худой конец хотя бы заготовим речь для оправдания на Страшном Суде, начинающуюся со слов «Видите ли, уважаемый Бог...». Весна. Снег стаял: наипаче на открытых пространствах. Все слова русского языка счастливы одинаково. Болтовня спасет мир.

МИР НОВОСТЕЙ

Некоторым не нужно даже ничего делать, как они уже тут. Тут. Они живут быстро и успевают за год прожить два-три полноценных романа.

Чего другие категорически не успевают.

Конец августа, наконец похолодало. И дождь идёт.

В фильме «Нарезка» [Short Cuts] делают фотографии лежащей девушки, предварительно разрисовав её гримом, а может быть, просто гуашью – там не видно, – чтобы казалось, что она мёртвая.

Билет в два конца стоит восемь рублей, а если платить штраф, то двенадцать, то есть разница – ровно на билет ещё раз туда.

— То есть, Вы хотите сказать, что это они правы? А мы неправы?

— Да, я хочу это сказать, но не скажу. Я Вас боюсь потому что. Больше, чем их.

Монитор – это телевизор, в котором никогда не заканчивается бумага.

Телевизор – это монитор, в котором бумаги почти не бывает.

Вот, собственно, новостей-то почти никаких. Так... вообще, новости хорошие, когда много денег у телекомпании. Тогда новостей много, и они разные. А из меня какая телекомпания. Я всем показываю всегда только бумагу с буквами. Из меня разве что телетекст.

Из меня контекст. Из меня, в меня, восходящие потоки, нисходящие. А не нужно было читать – известно же, что не сможешь потом отвязаться. Как привяжешься, так не отвяжешься потом. Потому что даже присоски свои узлом завязывают они для верности. И все эти книжки носишь с собой. Ты носишь с собой их все, всю жизнь. Даже без рюкзака, в неудобном чемоданчике.

Мне присылают рекламу – самую разную. Вот, например: The last golf lesson, you'll ever need. Больше вам уроки гольфа уже не понадобятся. В конце занятий вам переломают ноги тяжёлой металлической клюшкой. Вы будете ходить на костылях.

Какой тут гольф.

То есть, они тоже показывают мне бумагу с буквами. У меня в холодильнике показывают недопитую вчера какую-то отраву раскрашенную и вчерашний же [если не позавчерашний] салат. На улице показывают дождь и конец августа. Из цветного окна. С большой диагональю.

Диагональ

Была долгая история, странная. С питьем горячего портвейна с утра пораньше, поездками на непонятную дачу, все менялись местами, а я был конфиденнтом и тех и тех. До сих пор они отчасти не знают друг про друга – как тогда всё было. Я знаю, но уже и рассказывать-то незачем. Истории тоже портятся. Хотя у нас у всех в голове для них небольшие холодильники и морозильные камеры – у кого на что хватает электричества этого холодного. Синего.

Я как-то уже писал о невнимании к деталям. И прав, вероятно, Уланов. Это я просто размышляю о том, как надо бы и зачем это всё. Домашнее такое, архивы, анкеты, такой чёрный растрёпанный дипломат из советского кожзаменителя, набитый бумажками. Фотоальбом «Тем летом, в Крыму, на отдыхе».

Тогда Сок. и Нат. с М. поехали в Кокт., а Воденн. потерялся куда-то. И мы ходили к морю [но неудачно], пили кофе и что-то ещё делали, был хороший день, но ничем особенно не запомнился, кроме того, что мы провели его вдвоём. Их после этого уже было мало таких – по пальцам пересчитать. Вообще, уже всё заканчивалось, как выяснилось.

Впоследствии.

Жизнь в мире новостей. Все новости мира летают у нас в комнате как бабочки, в стереофонически чистом высоком воздухе. FM high. Мы должны обсуждать и этот вопрос: авторские права на любовную переписку. И этот вопрос будет обсуждён нами со всех сторон, так подробно как только можно себе представить. Возможно.

Невозможно. Неа. Ну, нет. Нет.

Открыть файл под названием ghbdtn. И в нём обнаружить только одно слово: ghbdtn. Привет-привет. Как поживаешь. Ну, пока-пока. Ладно тебе.

Бумага, которая не кончается. А буковок-то всего тридцать две. И кому это интересно, спрашивается? А никому. Это не интересно совсем, но есть что-то невероятное во всех этих неинтересных вещах, в этих неновостях мира. В этих его не то, чтобы даже вчерашних, а вообще каких-то несуществующих газетах, которые лёгкие очень: шёл по Крымскому мосту, остановился прикурить, а она улетела. В этих зависимых от всего газетах несуществующих. Ничего такого не сказано. Но есть что-то во всём этом таком, ничем не особенном.

Что-то невозможное совершенно, какие-то девятизначные телефонные номера, циферблаты на семнадцать с лишним рассчитанные часов. Адреса на Левобережье, поликлиника им. Десятилетия Октября. IP непонятные: римскими цифрами. Что-то такое. Такое что-то, не знаю, как написать. Надо подождать, они тогда напишутся сами. Нарисуются, позвонят, попросят о встрече. И мы увидимся. На нейтральной какой-нибудь территории, в баре каком-нибудь. Или в булочной французской. Возьмём. Ну, если дадут.

Интервью.

И другие, тогда же, там же, на Воробьёвых. Беленькая, чёрненькая.
С изменёнными наоборот ролями. Отразившимися. Всё во всём отразилось,
выбежало, вбежало, хлопнуло дверь, вбежало, выбежало, бросилось на шею.

Скоро зима.

От предчувствия которой [и снег]. А. Ладно.

Ну что я буду, в самом деле?

Что могло бы повлиять на продолжительность нашей жизни? Ну, помимо
обычных мероприятий в смысле охраны здоровья?

Мы правы. Ну конечно же, мы правы. А то как вы думали? Вы думали.
наверное, что они. А нет. Не они.

Ну, не ровно три года назад, чуть позже.

Очень узкий круг общения. Безумие какое-то.

Неопределённые *каким именно образом*: кое-как, как-то так, так как-то,
никак, не так как-то. Как-то так вообще, *наконец*.

Неопределённые *какие именно*: какие-то такие, ну такие
какие-то, никакие (уже, ещё, совсем, вовсе, ага, АГА!),
некие. Какой-то и какая-то. Где-то там. *Где?*

Ну, там где-то. Отсюда не видно.

Повлиять – это вряд ли. Говорят, всё предопределено генетически. О Господи,
как же меня достали эти заглавные буквы в начале предложения... Ну зачем?
Есть же точки. И всё. И достаточно, казалось бы. Ну и чёрт с ними. Пусть
делают, что хотят. Так вот. Генетически всё. Такая была наука. Но это давно
было. А вообще достаточно знать, что... нет, нет. Этого тоже не нужно знать.

А она говорит ой а посмотрите мою визитку, а? Зорким глазом. Смотрю, а там
котик такой чёрненький хвост, лапки, полосатенький типа. На серебряном фоне.
Ужасно Мариночка говорю ужасно. Здесь пусто здесь полно по листу некрупно
идёт. Убрала. Обиделась. Если бы, с другой стороны, я хотел ее выебать, тогда
да, похвалил бы, наверное. Но ведь не всё же врать, изворачиваться и
подличать. Надо же и правду говорить. Для соблюдения. Надо же и совесть
иметь. Особенно если не в моём вкусе. И не до неё вообще. Тогда особенно.

Должно же быть и чем гордиться.

А не только грехи к исповеди, на которую я не пойду.

Вы, говорит, деточка, приходите на следующей неделе. Там и посмотрим. Ну, а
плакать чего же? Нечего плакать. Плакать надо было раньше. А теперь уже
поздно. Теперь уже мы за Вами пришли, и вы попали к нам **В ЛАПЫ**. И мы вас
никогда теперь **НЕ ОТПУСТИМ**. А будем мы Вас, деточка, **МУЧИТЬ**.
Деточек вроде Вас мучить одно удовольствие. Сладкая какая. Буду смотреть на
Вас буквой. Нда.

Посмотри на мою визитку. Ты видишь, кто я, видишь? Я летнее [пока],
расплывчатое, пишущее, страшное. Не подробно пишущее, а так. Отрывками.

Чтобы тебе было непонятно. Вот специально для этого. Специально. Вот назло. Из семейства кошачьих. А?

Ага.

А вот скажите?

И скажу. И скажу сейчас. И не побоюсь. Сейчас.

Подождите-ка. Подождите. А вам зачем, а? А вам зачем?

Не-ет. Так просто вы меня не подловите. Я ловленный. Меня попробуй поймай.

Поимка.

А потом мы закрыли глаза, вместе. И ушли, взявшись за руки, вместе. Как цветы, как цветы. *Как цветы*. Как ромашки. На которых гадали. Не в лучшей, по правде сказать, форме. Не в форме. Грустные. Зачем приходили? Так просто. Ну как пришли, так и ушли. Побыли немного и ушли. Как цветы. Завтра сентябрь. Нет. Послепослезавтра.

Нас уже ждали. Мы очень преуспели в опустошении всех слов. Мы для этого родились. В 1972 году.

На prosvet vetvey, где солнце. Туда, куда. Туда, где. Там, где что. Где-то, где как-то. А совсем не так, наоборот. Я к тебе прижмусь. Буду тебя трогать холодным сердцем. Положу горячую голову тебе на колени – погладь... Обниму тебя грязными, в засохшем времени, руками. Всё неправильно. Да, правильно, – сказал он, – всё неправильно, правильно, да.

На них нужны специальные капканы. Более, чем незаметные. Значительно более. На них – сказала его сестра – нужны такие капканы, чтобы их вообще не было. А без капканов их не поймать. Если они непоиманные будут гулять, нам всем тогда наступит пиздец. Пиздец. Мы как раз охуеем к тому времени до самой финишной линии, и нам наступит *пиздец*. Даже оглянуться не успеем, как наступит п и з д е ц. Оглянуться, чтобы посмотреть, не оглянулся ли кто-нибудь из них, чтобы посмотреть, не оглянулся ли кто-нибудь из нас. И тут всё. Всё.

Поимка началась с того, что сфотографировали и положили карточку в альбом. Так всегда начинается, когда речь о больших деньгах. И всем показывали, говоря: вот они, и помните, тут большие деньги замешаны. А ведь не было денег, ни больших, никаких.

Смотрите, говорят, хорошенько. Запомните лица. Нет, вы еще раз посмотрите. Ещё, ещё. Ну что так можно запомнить... Вы смотрите внимательнее давайте. Не надо халтурить, не надо. Для себя же делаете.

Чтобы не наступил пиздец. Вы же этого не хотите?

Вот и мы не хотим.

И никто.

А посмотреть – пусто. Его сестра, вот да, скажем, его сестра, хочет, чтобы это произошло во всех других местах. Но только не с ней.

В мире новостей все читают газету и думают: как хорошо, что этого не произошло. Как хорошо, что об этом вовремя написали в газете. А то если бы это произошло, – как было бы плохо. И целыми днями думают об этом: как хорошо, что не произошло этого. И как было бы плохо, если бы это произошло. Больше ни о чём другом не могут думать. А пока они думают, вокруг происходит совершенно другое, о чём нельзя думать никому.

И никто не. Жизнь идёт молча и сама по себе, и об этом нельзя никому говорить. Но вот, например, его сестра леночка олочка нет не помню. Крутится, крутится ноотропил у меня в голове. Разнюхивает мои секреты. Зачем ему? Что ему? Непонимаю. А и хуй бы с ним. Большое, можно подумать, дело. Подумаешь, военная тайна.

Варенье ненавижу (впрочем, смотря какое), к печенью вполне равнодушен. Но приходится.

Пустое, горячее, гулкое. Потрогай меня губами. Не-ет. Это ты у меня в голове. Трогай меня изнутри, которого у меня нет. Трогай меня извне, которого у тебя нет. Всё очень быстро, очень. Сто тысяч миллиардов миллиметров в миллисекунду.

И ещё иногда даже быстрее. Вжжик. Рраз.

Вот это я понимаю, жизнь.

А они уже тут. Они нас поймали. И держат. Делают фотографии, что, вроде бы, мы мёртвые. И все будут думать, что мы мёртвые, хотя мы живые. Ну и что, что мы себя так не ведём. Не бегаем, не прыгаем, не ебёмся, не целуемся даже, не дышим. Вы подумайте. Это не так важно, как вам раньше казалось.

Ну, если бы мы целовались и бегали, вам что, было бы легче? Ведь нет. Нет.

Ghbdtg-ghbdtg.

А ведь как хорошо получилось.

Как сложно.

А то. Это же мир новостей.

Одних ловят, других отпускают.

Love it, or leave it.

ЧАШКА ПУСТАЯ И ЧАШКА ПОЛНАЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА

Прогулки по парку

для С.Б.

Любой вышедший из-под пера мужчины Текст, содержащий то или иное количество отсылок к Другому, чьим автором является женщина, неизбежно может быть сочтен сексистским, - вне зависимости от чьих-либо обстоятельств и желаний - в силу особенностей языка, либо из-за проходящей через мужское тело пишущего плоскости аналитического дискурса. Таким образом автор (во избежание всей полноты ответственности отчуждаемый мною в третье лицо) не сколько пытается оправдаться, сколько констатирует одну из тех непреодолимых очевидностей [evidence], которым плевать на common sense и на угрозы возбудить судебное разбирательство по поводу sexual harrasement.

В памяти как заноза застрял [stuck] один из рассказов о собственном детстве¹⁾. Все попытки определить меня в детский сад (название иллюстрирует бытующий во взрослой патриархальной культуре миф о детстве как о Рае) заканчивались ангинами либо пневмониями, длившимися по несколько месяцев, из которых я выкарабкивался всякий раз как с того света. Таким образом, со мной попеременно сидели дома бабушка и мама. Обе они водили меня гулять в расположенный неподалеку парк, одним краем останавливавшийся у ограды стадиона “Локомотив”, а другим как-то не по-московски медленно сползавший к кромке Севастопольского пруда. Там я обычно встречался со своей подружкой и (не сказать в женском роде) товарищем по играм - с девочкой по имени Света²⁾. И вот я, общавшийся тогда большую часть времени с мамой, бабушкой и упомянутой девочкой Светой, стал и применительно к себе употреблять глаголы женского рода: читала, играла, видела, была. Вспокоившиеся родные, разумеется, быстро исправили означенную неточность детской речи, косвенное соотнесение себя с женским, в английском, например, языке попросту невозможное. Это чужое воспоминание навсегда связано для меня с небольшим парком, где со мной часто гуляли в детстве.

Иногда я испытываю жгучее желание поговорить с ним - не с тем ребенком, которым я когда-то был, но с тем, который когда-то был мною. Едва ли из-за того, что ощущаю его как потерянное или отнятое. Скорее для уточнения свойств и протяженности разделяющего нас пространства³⁾. Не того же ли свойства желание заставляет выросших девочек оставлять на видном месте открытые письма своим постепенно взрослеющим дочерям? Для моей дочери письмо подобного рода, написанное отцом, было бы, скорее, тайной за семью печатями: для взлома их необходим инструмент, которого девочки лишены.

Кстати говоря, похолодало, т.е. октябрь уж наступил и кто-то из нас сидит на скамейке в парке на ветру потрескивает сигарета руки по локоть в засохшей речи, похолодало, ну и вообще - любой парк, скажем, территория МГУ на Ленинских горах - немного давняя уже *реальность, населенная поверхностями и очертаниями*. Эта история имеет своим главным героем одного моего приятеля - художника Женю Ш⁴). Вы видели когда-нибудь детские рисунки, на которых земля изображена обычно в виде тонкой серой или черной полоски? Как-то на одном из уроков, в бытность свою учителем рисования, Женя Ш. подвел детей к окну и предложил им найти ту самую тонкую серую или черную полоску, которая изображала (символизировала?) землю на их рисунках. Они долго смотрели из окна на окружавший бывшее здание детского сада парк с чахлыми низкорослыми деревцами и крытыми дырявым шифером беседками. Потом одна девочка выдохнула: “Нас обманули...”.

С тех пор я не могу отделаться от вопроса: что же она увидела, какую взрослую ложь почувствовала? Уроки рисования подобного рода иногда ощутимо меняют правила игры. Ждушая, влажная, открытая ветру плоскость вместо сухой линии. Бесконечная внутренняя жизнь поверхности, белизны вместо мертвых витгенштейновских биссектрис. *Свойственная коже плотность, способная к радости узнавания, не искаженного еще желанием*. Или так: тело сиротского, совкового парка, нанизанного, как и любой другой, на чередование плоскостей лужаек с волокнистой древесиной, ветвями, белым шумом листвы, соединительная ткань тропинок, аллей. Плоскость: Незаполненное. Все, что представляется нам пустым, на самом деле не пусто, а опустошено⁵). Лукошко, в котором ягоды были принесены из леса и высыпаны позднее на стол.

Лес, месторождение темноты, место действия странной, молчаливой растительной жизни: через две тысячи лет рискованного земледелия, выжигания делянок, мы оказались разбросаны по памятникам садово-парковой архитектуры, чьи открытые пространства, обжигающие обнаженные поверхности (т.е. по сути, следы деятельности чудовищных масштабов цензуры) внушают нам страх, не сравнимый ни с каким другим. Таким образом нас обманули. Журнальный вариант личной истории, которому мы обречены⁶), заставляет нас пить каждое утро⁷) *дешевый, кислый кофе*, напряженно *вглядываться в темноту*, в поисках кошки неважно какого цвета, серебристых мышей, взятых на прикус миокардом, зарытым в корнях того или иного дерева в удаленной части парка.

Выплесни из чашки остатки кофе. Но тело женщины нельзя заполнить снова. В глубине его непрерывно, без единого слова, сказывается *жизнеописание* одного из *эфмерных существ*, эндокринного демона, внутреннего мужчины. Брюзжащую, по-стариковски болтливую пустоту нельзя заполнить ничем.

Того же рода ускользающий, не в меру болтливый, но женский дискурс выталкивает странные вещи на поверхность мужского тела. И Ему нечем заполнить не существующую внутри Нее пустоту. То, что соединяет нас: это не стремление восполнить утерянное, а натыкающиеся друг на друга острыми краями осколки любви и ненависти тех, других⁸), чьи имена начинаются с А и Б, как и наши.

Все ранящие, растущие в парках, прорывая поверхность кожи, заставляя нас молчать от потери крови, всего лишь дают возможность другим вступить в разговор. О том же разговоре повествуют засохшие пятна крови на простынях⁹⁾. Будущие мамы с огромными животами любят прогуливаться вдоль живых изгородей из терновника и получать в подарок огромные букеты влажных шипастых роз на длинных ножках. Но истинные родители ребенка строят планы на будущее в тишине такого качества, которое недоступно нам, любителям кроссвордов и викторин.

Возвращаясь к телу, где может быть установлена истина, где следы лжи и вранья обнаруживают структуру языка и расшифровываются как письмо или небольшой рассказ, но, в отличие от последних, будучи однажды прочитаны, могут быть уничтожены, стерты без особого сожаления. К телу, превращенному легионом невидимых цензоров в якобы пустую чашу, сосуд, набитый тоской и производными бензодиазепина. Возвращаясь к телу, сама топология которого вводит нас в заблуждение, к телу, проступающему сквозь бесплотную речь. К телу, сминаемому темнотами двух соприкасающихся разноязыких пространств, бессильных разделить друг с другом одиночество иначе, чем причиняя моему телу боль, возвращаясь к нему, отнимая его у меня, бредущего по одному из парков сквозь толпу призраков, спешащих на троллейбусную остановку.

И возвращаясь к парку, где я впервые узнал, не важно что - не важно от кого именно, к тому парку, где я мальчишкой ломал сирень, чтобы отнести маме или к тому, где я так и сижу на скамейке глядя вслед. Каждый из них говорил со мной языком границ и брезжащих за пределами зрения белых пятен, оставленных на одежде моего мира безымянной дымящейся кислотой. Дриады дразнили мое сердце, высовываясь на мгновение из толщи годовых колец. Коротко стриженные кусты смеялись над стареющим мной, как стайка подростков. Жимолость утешала меня: я прятал лицо у нее на груди и протягивал к ней руки, уже не повиновавшиеся мне более. Я был оплакан омелой и остролистом. Ветер доносит гарь палой листвы от костров на том краю школьного двора. Далекый щебет, смех маленьких существ, какими и мы не были никогда. С одним из них или с другим, но похожим на наше точь в точь, мы, выкроив иногда немного времени из сдаваемой экстерном жизни, ходим гулять в парк. Потому что иначе нам, очень, в сущности, немногим, нечего будет вспомнить друг о друге. Потому что мы ничего не помним о них. Никогда ничего о них не знали. Навсегда отмахнулись от скучных стариковских историй и упреков за разбитую чашку. Навсегда выбежали из дома, чтобы вечно смеяться и играть на траве, в самом центре бесконечного парка, под сверкающим, легким, ясным до безумия фарфором небес.

Примечания составителя.

- 1) вообще я в значительной степени сужу о первых пяти-шести годах своей жизни на основании чужих рассказов. Таким образом это время как бы отчуждается от меня; я для себя фигурирую в нем как объект, чужой ребенок не-я, то ли свой собственный, то ли вообще подкидыш неизвестно какого рода племени, числа-множества, склонения - грамматической категории;
- 2) сколько-то лет потом мы сидели с ней за одной партой. В четвертом-пятом классе она звонила мне каждый день. Теперь я вспоминаю наши телефонные разговоры (длившиеся, иногда по три-четыре часа) как прообраз преследующего меня до сих пор восприятия женщины как, в первую очередь, особого высказывания;
- 3) я почти уверен, что оно заполнено тем самым парком - или другим точно таким же, где осенью быстро темнеет, а зимой под ногами хрустит снежок; я так много говорю об этом потому, видимо, что от парка, собственно, почти ничего не осталось, и никому кроме меня, скорее всего, не придет в голову защищать его от ржавой косы Перспективного Плана Развития Северо-Восточного Округа. Вот я и твержу все время об одном и том же - ведь сам он не может *поведать о себе, а это - единственный способ борьбы со смертью*;
- 4) мы с ним восемь лет проучились в параллельных классах. Потом наши пути разошлись. Несколько лет назад, в один из самых темных периодов моего неудавшегося брака, он позвонил мне по тому единственному телефону, который мог у него уцелеть и исповедался моему отцу - рассказал о том, как от него ушла женщина, с которой он прожил два года, о попытке самоубийства, о нейролептиках. Очень просил, чтобы я нашел его по одному из двух телефонов или адресов. Я промолчал. Сейчас он, талантливый с проблесками гениальности художник, делает компьютерную мультипликацию для одного из коммерческих телеканалов.
- 5) чрево девственницы, синяя чашка, *заварочный чайник*, глиняная посуда на полках, душа ребенка, *матерчатое лоно шкатулки*, гроб, приготовленный для неизвестного персонажа статистических расчетов уровня смертности;
- 6) *бывает, знаешь, жизнь//в журнальном варианте*;
- 7) *каждое утро пробиваться к живому теплу сквозь омертвевшую корку золы*;
- 8) эльфы малоизученной породы, сидящие спина к спине на поблескивающем, ждущем своего часа горне;
- 9) изнутри женского тела, если приложить ухо, слышен разговор, который некто ведет оттуда с Божеством. Факт этого разговора Божество и свидетельствует с методичностью Катехизиса.

ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА СПАСЕНИЯ МИРА

— Здравствуй! Как хорошо, что ты подсказал мне этот метод спасения. Писать. [Вообще, мне кажется, что писание текстов – это метод спасения. От чего только?] — Мне не снился сон, и другой тоже не снился. В последнем, неприснившемся под утро, я вёл красную лёгкую машину и смеялся, к чему бы это? — Это к деньгам или к перемене здоровья? — Не знаю. В предпоследнем (ночь с 45-го на 48-е) умерла бабушка, я пришел к своей матери и рассказываю: купил красивый гроб, обитый синим бархатом. Она слушает меня внимательно, а потом говорит: это хорошо, хорошо, но зачем теперь всё это? — А так Провидение мне не хочет облегчить задачу, и я живу без снов. Другое дело, что вот Tricky про чумазных ангелов поет, есть в этом от детского утренника на Рождество, где напряжение полюсов возникает от несоответствия взрослой задачи родить бога и спрятать, с одной стороны, — да, и слабых детских тел с другой, для нелёгкой женской работы не приспособленных. Once a white guy and a black guy bickered: is God black or white. And at last they decided to ask Him. And they asked. And He answered: I am what I am. So, you see, – the white guy said, – He’s white. But why?! – the black guy cried. – Well... ‘Cos if He was black, He should say «I is what I is». Цвет имеет значение. Размер имеет значение. Возьмём, например олега геннадьевича пашенко, молодого человека двадцати семи лет от роду, подвизающегося на ниве fine/computer arts. Вышепоименованный огп как-то раз отметил, что у смерти четыре ноги, а внутри у неё длинный хвост. — Ну, уж и длинный... – скептически откликнулся впс. — Длинный, – с гордостью сказал огп, – у меня длинный, пятнадцать сантиметров во взволнованном состоянии. — А откуда берутся зооморфные метафоры – все эти киски, рыбёночки и прочая живность? — А оттуда, что это позволяет вывести предмет разговора в детскую внекультурную плоскость, что относится и к другим зооморфным метафорам вроде рыбы и птицы. — Да, и не только в детский язык, а ещё два варианта. В чистую телесность, как, например, «хуй», или в смысле чистого рационального знания, в дискурс позитивистской науки: «пенис, вагина». Появляется такой суховатый академизм в духе фрейдовской кушетки. А там уже, ясно, значения не имеет, что там, как там, у кого сколько. Илья имеет объяснять, что когда писатель использует свой текст в терапевтических целях (заболело – написал), от этого русскому языку хорошо. — И писателю хорошо, и всем, таким образом. — Ну да, а Лена имеет объяснять, что она, как писатель, превращает слова не вокруг в жизнь вокруг, и вроде бы тоже русскому языку от этого самого хорошо. Впс возражает ей в том смысле, что всё, мол, наоборот, а русский язык ему, впс, написал такое письмо, что ничего ему, русскому языку, от впс не надо, только просил передать привет сок., давид., кузьм., тому же кук., ещё некоторым людям. — Слушай, а ну их, эти проблемы. Давай возьмём лучше что-нибудь другое для примера. — Давай. Вот, например, «усталые мужчины». Хорошая тема для разговора. Он, один усталый мужчина, 1952 года рождения, внешность восточная, чувство юмора, молодые специалисты в подчинении, блокнотный ПК в сумке, Асер. — А почему усталый? Да так, устал. — А-а... Ну, какая же это проблема, где тут напряжение полюсов? Напряжение полюсов везде. — Женщина плачет, смотри. — Плачет, да, случилось что-нибудь. Женщины часто плачут, у них другое отношение к слезам, – вроде как у мужчин к чиханию. Просто нужен платок, а сложностей никаких. — Главное возраст, тогда слёзы редко, это чистая биология, с возрастом у слёз повышается вязкость, а каналы твердеют от табака,

алкоголя и холестерина. Это удобно. — Ты кем себя считаешь? — I is what I is. — Странно, а вроде непохоже. — На что непохоже? Ни на что. Ни на что не похоже, совсем. — Я всё-таки не могу начать письмо так, как ты. — Нет, правда? — Что ты меня спрашиваешь? Я и сам-то последнее время стал сомневаться, есть ли у меня душа вообще. — Насчёт души не знаю, а вот у меня есть на этот счёт определённые подозрения. — Да? Какие же? — Да самые разные. Например возьмём детский утренник. Там всё дело в несоответствии задач. — Это мы уже обсуждали. — Обсуждали, да. — Но я буду долго жить этим майским июнем, и всё, что я вспоминаю помимо тебя, beyond you – всё как случайно не успевшее выветриться отражение в зеркале после того, как я ушла, давно ушла. — Нет, – ответил я, языком катая во рту осколок стекла.

Воденн. звонит тут ей, спрашивает её, как мол, личная жизнь? А она у меня, – отвечает, – безличная, или, сказать, вообще-то не существительное, а скорее, глагол неопределённой до крайности формы, глагол бесформенный, безличная жизнь моя, отвечает, воденн., вот. По утрам она долго оттаивает, как будто бы её на полном серьёзе всю ночь держали в холодильнике. — Я выписал из записных книжек Витг. вполне фразу, что вот, мол, каждое утро человек пробивается заново к живому теплу сквозь омертвевшую корку золы. Давно выписал, фраза патетическая, как он весь, давно, ещё работал в школе. Там была девочка юля андрусенко, хорошо говорила по-английски, имела пятёрку по причине замечательного произношения. Был ещё мальчик Бальчиков Володя, сын водителя, обучавшийся в частной школе по разряду просвещённой благотворительности; написал в сочинении на тему «Что такое духовная жизнь?»: духовная жизнь для меня – это когда я иду по улице, а мне ветер в лицо. Тоже имел пять. Ветер в лицо – это хорошо. Ветер в лицо – это пять. Садись, Володя Бальчиков.

— Тебе часто письма приходят? — Ну, не то, чтобы часто, но бывает, так уж, по нынешним временам. Таня пишет из Reno, Nevada, что нет, ненавижу e-mail. Хочется поговорить, конечно же, хочется поговорить, но надо же всё равно сказать спасибо. Три года уже прошло, а время и расстояние, их много. Тем не менее, пишутся письма и слава Богу и Минобороны САСШ, что не приходится полагаться на snailmail и не приходится возить письма на Варшавское шоссе отправлять, москва большая, больше всего остального, в ней письма теряются и никуда не приходят. Ты извини, я неконкретно выражаюсь, слишком неконкретно и расплывчато, вероятно, слишком для Reno, NV. Это я рассказываю не о погоде, а о себе, на свой манер, слова в простоте сказать не могу, чернила разноцветные на ровном месте без повода, заметки феноменолога. — Представим себе, возьмём для примера: друг-художник, рисует синих женщин со свечающимися сосками. Ещё один друг, скорее приятель, тоже художник, рисует *земляной флаг*, беспредметные формы, но из доступных материалов, фактур. Слегка заикается, мультфильмы на СТС, жена Оля. — Иногда утром я не могу встать, а просто лежу и плачу, потому что холодно, и я не хочу вставать. Иногда утром она не может встать, потому что холодно, хотя на улицу выходить не надо, а лежит вместо этого и плачет, потому что просто не хочет вставать. — Чудо: свечающийся сосок, выкручиваемый костлявыми пальцами собственного света. Это вполне холодное чувство к людям. Чудо есть нарушение, прокол обычного образа реальности и времени, экстраполируемого из известного опыта. Experience is what you get, when you don't get, what you want. Это кто сказал? Это я не сказал.

Ляг на спинку. Так где тут у нас напряжение полюсов. — Напряжение полюсов тут у нас везде.

Now let me tell you something about myself. Outside of school, I like to read and write poetry and stories. I really love ice hockey. I don't play...I watch the NHL and go to games. I like to dance a lot but I don't like clubs so I don't really have anywhere to go. But mostly I spend my time thinking. I've just realized recently that is where all my time goes, but it fuels my writing so at least it's productive. I am an only child and my dad lives in Alaska (I live in California). When off school, I live with my grandmother, mother lives with her boyfriend. — Что с ним случилось? — Он умер пытаюсь вовремя ответить на записку от девушки Stacy, наполовину русской, папа живёт на Аляске, мама со своим другом. Его до сих пор не похоронили, и он до сих пор ходит на работу, хотя со служебными обязанностями справляется с трудом. Это тоже можно, например, взять. Как, скажем, он ходит по городу и заходит – там в магазинчик, там в киоск (просунуть голову, сказать внятно, чтобы девушка услышала), в бар, никогда в кино, и становится совершенно ясно, что на метро ездить быстрее, потому что москва больше всего остального. От него хотят, чтобы он написал текст для Russian Journal и принял участие в передаче про это, но он не слишком беспокоится, – по полному своему безразличию и благоприобретённому отсутствию интереса к проявлениям жизни во всём её многообразии. По ночам ему снятся синие дамы со светящимися сосками, *земляной флаг*, красный кабриолет от смутно знакомого производителя. Он придумал Майю, только не придумал, чем она занимается по выходным. Мечтает об upgrade и чистке изрядно уже замусорившегося реестра. — Становится ясно, что тебе нечего мне сказать. – Я рад, что ты так рано это поняла, и мне не пришлось морочить тебе голову в течение длительного периода времени..

В комнату заходят Сергеевич Ушкин и другие. — Я помню чудное. Помню? — Помню. Вам не нужен 64 Мб чип SDRAM? — Нужен, нужен, давайте сюда. Фраза витг., дискурс позитивистской науки, «babe дискурс». — В комнату заходит «молодая мама». – Что будут есть мои мышатки? Что будут есть мои зайчики? Что будут кушать мои лисички? Чем будет питаться моя киска? — А вот этим. Вот этим самым, юная леди. Bye-bye-bye, я застрелил начальника местного РУВД. Потому что нечего было доёбываться до меня с самого, что ни на есть, утра. — Что со мной случилось? Ну... Я остался жив, не успев вовремя ответить на записку и рассказать ей анекдот про двух парней – белого и чёрного, которые, дальше вы знаете. Протом меня похоронили, я сидел в кресле, пил пиво и смотрел НХЛ. Очень жаль. Правда. — Да-а, что за страна, никто ничего толком сделать не может, сплошная путаница. Закапывай, Вилли. Бедный Йорик.

— Возьмём для примера другой случай. — Слушай, не пора ли по домам, поздно уже? — Да ладно, давай ещё пройдемся. — Что мне делать? Притвориться, что всё надоело, или сделать вид, что увлеклась кем-нибудь, каким-нибудь с шёлковой бородкой и библейскими глазами? Четыре. Точнее, почти четыре. Успокой меня хоть немного. — Когда-нибудь время устроит тебе ловушку, сама знаешь, мне нечем теперь тебя успокоить. Нас некому успокоить. Но до этого ещё должно пройти три с половиной года. Так что пока возьмём для примера: подрабатывала в ресторане, танцевала за деньги с посетителями, сейчас работает на трёх работах, по утрам проезжает мимо океана, машину водит, но парковаться пока не научилась. Живёт со стареющей одинокой дамой, которой кто-нибудь нужен, чтобы не так было страшно одной в своём

апартменте. Учит детишек танцевать, а где надо – просто пританцовывать, т.е., прививает чувство меры, что редкость в наш атомный век. По ночам видит во сне ангелочков с чумазыми мордашками, крылья перепачканы чернилами. — Итак, дети, диктант: Письмо характеризуется, па сути дела, господством текста – в том смысле, каторый этот фактор дискурса, как мы увидим здесь, палучит. Это приводит к стиснённости, каторая, на мой взгляд, ни далжна аставлять четателю иново выхода, кроме входа в этот текст – я я его предпачетаю делать затруднительным. Следавательно, в данном случаи перед нами вовсе не письмо. – Закончили? Так, листочки подписываем и передаём по рядам. Быстро, быстро. Володя, Юля, что вы там шепчетесь? Так, на счёт три больше не принимаю, раз. Два. Два с половиной. Три. До завтра, дети, я тороплюсь, мне надо киску покормить. — Вот такая она была, учительница первая моя. А что делать, никто никого не умеет, всем трудно, некоторым очень трудно. — Представляешь, у меня два дня не работал телефон, то есть, нет, мне можно было позвонить, а вот я не мог. Положение хуже не придумаешь, полная беззащитность, всё равно как сидеть в комнате зеркальными стенками, полупроводниковая технология освоила невиданные высоты. Кремний, кремний, твердыня. — Да, но когда-нибудь, мне кажется, время мне устроит [нрзб.] ловушку. На пару – дней (т.е. какие-то события не втиснутся рядом с другими в один день и останутся без времени). Возникнет целый день, но абсолютно пустой, как экран перед титрами. — Половина того лета прошла как бы сама собой, но я же подсказал тебе способ спастись. — Солнце, я снова убегаю в метро от света, я перебираю фотографии, раскладывая их на коленях, и скажи мне: разве кто-то из нас спасётся? Только скажи мне, пожалуйста правду: разве кто-то из нас спасётся? — Нет, конечно же нет. — Кто этот, подглядывающий за мной с отпечатка? Это моё отчаяние, поляроидный свет, тусклый циан... мажента... йеллоу... блэк... случаи самоубийства серебряными пулями... мы такие, какие мы есть... дагестанский коньяк за тридцать одну пятьсот... я ношу твои письма в нагрудном кармане лёгкой рубашки... так ты ближе... не попали в rantone с тридцати шагов... ты улыбнулся?..

— Этот хороший, готовый отец, о ребёночке будет заботиться, – думает одна женщина. А он в это время жадничает и вместо роз покупает фрезии в хрустящем перевёрнутом мешочке без дна, и по-голландски не говорит. Вообще, говорит мало, плохо умеет, не то просто мыслей нет, чтобы говорить. — Ну, хотя бы просто так болтал, что ли? Не-ет, просто так – это не достойно мужчины, готового почти отца, средний класс, опора нации и надежда режима, у которого режима одно огорчение, что таких мало пока. Так что он всё больше молчит, получается многозначительно, и всё время ходит какой-то полуживой. Кличка: Кисель. По ночам видит во сне синих женщин со светящимися сосками и какие-то бесконечные идиотские утренники с участием жизнерадостных младшеклассников. Утром он лежит часто в постели и, вместо того, чтобы вставать, ругается матом тихо, потому что холодно. О нём даже писали статью в «Nature», как о специфическом русско-московском человеческом феномене. — Да какой же он феномен? Он же просто мудозвон. — Ты путаешь, тебя губит терминологическая небрежность. Мудозвон всё время разговаривает о том, о сём, как я, например. А это другая история, специфический феномен из истории и географии населения.

— И в чём это выражается? — А теперь уже ни в чём, как сказал однажды Варгас Кошак Кулич, международный террорист с солидным квазидиалектическим background'ом. Я думаю, выражением регулярного

паттерна является его, паттерна, реакция на нарушение регулярности. Например: Варгас Кошак Кулич заказывает себе адвоката, фамилия которого представляет собой нечто среднее между валиумом и булемией³. Заказанный адвокат в полном дауне, потому что вместо того, чтобы встать, его жена лежит в постели и плачет, потому что встать не хочет, к тому же холод собачий, а сын на утреннике изображает из себя ягнёнка, не то козлёнка. Адвоката вытаскивают из постели и тащат к Варгосу Кошаку. Но по пути валиуму встречается Сергеевич Ушкин. А Сергеевичу Ушкину встречается булемия, у них любовь и Варгос садится на электрический стул. Нарушение протокола обычной реальности и времени, экстраполируемого из известных исходных. Оба должны были остаться в живых, но мы говорим о реакции паттерна на нарушение регулярности. Хотя какая уж тут регулярность? — Регулярность не в смысле сингулярность, а в смысле регулируемость. — А смысл в каком смысле? — А уже ни в каком. — А женщины, женщины, солнце, назадрнутые шторы, солнце, выжигающее у них под глазами синим, по векам, цвет поездов метро, разноцветные извивающиеся линии в непрерывной путанице уровней. Давняя, рассыпчатая уже таблетка, проскользнувшая в щель между полом и плинтусом, таблетка валиума, глюферала, детского снотворного, в смысле у них любовь, в окно светит, слепит глаза луна бодрствующих, он путешествует из словаря в словарь, из тезауруса в тезаурус — своим собственным синонимом. — Они уже за сотни, тысячи хостов друг от друга. — Но это тоже значения не имеет. Знаки дискретны, электронная жидкость льётся как дождь, разница полюсов, квантовое наводнение в витой паре.

— Что-то ты, братец кролик, о чём это ты? — Они требуют друг от друга всё больше, не подозревая о том, что за электричество скапливается на полюсах. — Этот рассказ, эта тема чересчур tricky, как и все твои темы и рассказы, тебе не кажется? — Нет, но зато мне кажется, что если бы Араки снимал «Doom generation» не у себя, а где-нибудь здесь, в окрестностях первой, например, проходной завода «ЗИЛ», вышло бы гораздо драматичнее. По утрам туда входят люди, вечером выходят, текут как электричество, квантовые ручейки, статистическая жидкость, нечистая кровь локального industrial landscape с высоким содержанием ингушко-грузинского алкоголя. — Да, не говоря уже о том, что финальная сцена могла бы приобрести социальное и даже более того, глубоко философское звучание, в духе Достоевского и Джоэля Харриса. Над отделом кадров завода ЗИЛ вьётся *земляной флаг*, Селин Дион выступает в ДК АЗЛК. — Кто же соберётся её послушать? — Мы все соберёмся её послушать. Её голос, глубокий, как Останкинские пруды. Селин Дион, серебряное горлышко и тайная мечта Сергеевича Ушкина. Мы так любим Селин, что даже трудно высказать нашу любовь русскими словами. Любовь наша темна как кинозал в то мгновение, когда свет уже погас, а киножурнал «Хочу всё знать» ещё не вспыхнул. — Хочу что знать? Хочу ВСЁ знать, всё видеть — в том числе, во сне, ездить в красном кабриолете, чтобы ветер в лицо и духовная жизнь со скоростью километров восемьдесят в час. Вот как хочу. — На двадцатом где-то хосте меняются общие принципы, в том числе, диалектические, кроме того, размер и цвет перестают иметь значение, происходит усекновение главы, т.е., восьмого бита в стиле CompuServe. Стейси получает письмо от Киселя, но прочесть ничего не может, потому что Кисель письмо написал по-русски, про то, что ему снится, как не хочется встать, и какую ерунду с утра до вечера показывают по СТС. — Можно взять например, как она читает всю эту

³ Бушлеман

абракадабру, компакт с «Pre-millennium tension» заигран до самого буквально членовредительства, она пританцовывает, задевает комнатный кактус на подоконнике, кактус падает, земля рассыпается по ковру, кактус задевает книгу Сергеевича Ушкина, книга падает, задевает газетную вырезку о жизненном пути Варгаса Кошака Лукича и как он принял мученическую кончину от мирового атлантизма-мондиализма, вырезка падает, медленно планирует на ковёр, мягко ложится на горку высыпавшейся из кактусова горшка почвы, могильный холмик ни дать ни взять, будильник резко звонит, Кисель просыпается и начинает плакать. — Просто не хочется вставать и всех дел. — А одинокая стареющая дама в своём апартаменте на берегу океана? Она встаёт рано утром, старикам не хочется спать, пасмурно, идёт дождь, она включает TNT, потом переключается на CNN, её жилища спешит в это время на свою третью работу, чёрная коробочка скоростей, в car audio мурлычет Селин Дион. К даме заходит её соседка – девушка Стейси восемнадцати лет с наушниками в ушах. — Плакать? Это значит, не хочется плакать. Хочется слышать тихо, издали Triptikon, Арилд Андерсен, Эдвард Весала, идёт дождь. Они не подруги. Они просто с трудом живут. Одна сидит без работы, другая уже почти без всего. — А кто она? — Она молодая, но уже опытная журналистка, весь день пританцовывает, в промежутках пишет статьи про себорею и секс с накрашенными мужчинами в колготках, статьи медицинской тематики, на несколько месяцев вперёд. — Что же Вы нас совсем забыли, — звонит взволнованный редактор, — у нас всё кончилось, предыдущую порцию всю напечатали, одна Аллергия осталась. Аллергия на всё, заезженная метафора. Аллергия – это какое-то заболевание касательно иммунной системы. Но на этот случай у меня есть сердце. Сердце моего врага. Килограмма, так, скажем на два, на рынке. Я приготовлю его и поужинаю им. Получу силу и ловкость моего врага, его хитрость и храбрость. Терпение и неприхотливость. Осталась одна Аллергия на всё про всё. И я иду на рынок за сердцем моего врага. Оно ждёт меня там. Кровоточащие два килограмма храбрости, мужества и терпения. Корова, мой враг, прости меня, но я должен это сделать из-за своей Аллергии, которой и сам Shering-Plau помочь не в силах. Nothing personal, – говорит Кисель и плачет над ещё не разделанным сердцем коровы, своего врага. — Вот и я говорю, НИЧЕГО ЛИЧНОГО, но не пора ли, как предлагал Илья в самом начале, сделать вид, что всё это в терапевтических целях? — Да, в духе фрейдовской кушетки и позитивистского такого подхода, не пора ли? — Возможно. Но что делать с другими, со всеми другими, кто нам время от времени попадается, – в том числе, в те ночи, когда, как мы прочитали у Генри Миллера, «наше тело висит на костях, словно изжёванное всеми зубами мира»? — Желательно было бы ничего с ними не делать, потому что всё равно не может ничего путного получиться из этого разведения мелких грызунов на агар-агаре собственной памяти. Сергеевич Ушкин заходит в свою ванную и обнаруживает, что слив засорен, в раковине плавают окурки от Kent Lights и Galoises Legère, использованный презерватив и какая-то мелочь по хозяйству. Он приходит от таких вещей в настоящее неистовство, надевает резиновые перчатки, сгребает всё и несёт к неприятным соседям, откуда мусор и приплыл. Соседка открывает дверь, крашенная в пластиковый цвет крикливая баба, Сергеевич Ушкин молча сваливает мусор перед ней и удаляется. Селин Дион в ДК АЗЛК закрывает лицо руками, песенка спета, ещё та, другая, из чужого репертуара на бис. Стейси вставляет кассету в walkman, барабанные перепонки прошивает английской булавкой вопль Джелло Биафры. Калифорния превыше всего. — Несколькими часами позже Стейси

выносит мусор на задний двор, спускается по улице к океану, некоторое время стоит перед ним, мимо проезжает открытый красный кабриолет, которым правит, сжав губы, Варгас Кошак Лукич, каковому Варгасу представляется, что он направляет на атлантическую цивилизацию беспощадную колесницу Джаггернауа. На обоих бортах для маскировки жёлтой масляной краской намалёвано: «За Родину, за Сталина, хуесосы!» Стейси кладет под язык таблетку валидола, поворачивается к океану спиной и, пританцовывая, удаляется по направлению к главной площади. «Пора, – думает она, – пора». — Так ты можешь зайти слишком далеко, ведь язык только маркирует структуру коммуникации. — *Но она протекает на уровне тела, что и называется иногда любовью, т.е. списком пробегающих перед нами картинок, на которых изображены мгновенные совпадения тех точек, с которых мы подглядываем друг за другом в тщетной надежде стать ближе.*

— Здесь нет никакого «слишком далеко», поскольку выскальзывая тем утром из дома, еще затемно, под проливным дождем, мы уже знаем, что не успем на электричку, а потом на день рождения общих друзей, но этого достаточно, поскольку тем самым мы вовлекаем железнодорожное расписание в никем не санкционированную игру, и впереди оказывается один или несколько дней, в течение которых деньги мельчают со скоростью телевизионной развертки, нарушается всякая регулярность и совершенно уже непонятно становится, что же делать. — Тогда истории начинают ветвиться, каждое слово помечено маркёром HTML или лучше VRML, сбывается мечта о гипертекстовом рае в отдельно взятом повествовании, можно чувствовать себя Колумбом или даже Эриком Рыжим. — «Я полон впечатлений прошлого. – пишет Ропшин, – Меня давит пережитое, я освобожусь от острой муки только записав всё». Садится и записывает. Записав и предварительно перекрестившись, посылает толстую пачку листов в журнал «Хочу всё знать». Имеет успех, толстеет, ездит на отреставрированном Cadillac Sedan de Ville 1979 года рождения, русский, беспартийный, писатель, как и полагается диссиденту, – любимый автор серии «Пламенные революционеры», по которой учит русский язык повёрнутая на 1/6 часть суши Стейси. — Давай лучше поговорим вот о чём: ты и учительница первая твоя. Как это было? — А это было так, что я писал после школы в прописях и почерк мой был такой, как будто бы я болтом царапал все эти *Aa* и *Ay* и *Ma - ma*. Я сам не мог прочесть ни слова из того, что написал. И до сих пор не могу. — А был ли в твоей жизни требовательный учитель рисования? — Был, а откуда ты знаешь? Алексей Алексеевич Клейдинс с фамилией, представляющей собой нечто среднее между клейстером и фломастером, но я никогда не умел рисовать. Но, в отличие от своих товарищей по лицейским играм, полагал, что это заслуженная кара за оценку «5» по русскому и английскому языкам. До сих пор меня давит пережитое, и я не могу без страха слышать слова *аксонометрия* или ещё *изометрия*. — О, я знаю твою боль, твою муку, ты освободишься от неё только когда запишешь всё. И будешь ездить на отреставрированном Cadillac Sedan de Ville 1979 года. И растолстеешь. И будешь иметь успех. Только тогда эта нечеловеческая боль отпустит тебя, когда ты снова спустишься однажды в метро, чтобы скрыться от солнца и встретишь там Алексея Алексеевича в окружении тридцати чумазных ангелочков, и захлопнутся двери, и поезд тронется под визгливый грохот *Maxinquaye*, ты обретёшь прощение и покой.

— Нет, послушай, это не Алексей Алексеевич, это другой: усталый мужчина, пламенный революционер с восточной наружностью и блокнотным

ПК марки Асег в сумке, любимый персонаж шестого сезона, приконченный Крисом Картером в угоду Дэвиду Панцеру, – как он бережно несёт тело к офису. Так бережно, как если бы он не был бессмертен. — Но он бессмертен? — Теперь бессмертен, если внимательно присмотреться. — У неё, конечно, есть глаза, но она почти ничего не видит, разве что с контактной коррекцией, которая превращает жизнь в чистый фарс, потому что откуда ей знать, что все эти друзья, любовники и сослуживцы существуют на самом деле? Откуда ей знать, что Vaush&Lomb не вмонтировали в её линзы небольшой видеомagneтофон с заранее сочинённым фильмом, а совпадение некоторых деталей вроде запахов – простая случайность. Или ещё более изощрённый обман. — И тогда, я понимаю, тогда возникает необходимость называть всех этих притацовывающих на поверхности линз друзей, любовников, сослуживцев. Так, например, при возникновении железных дорог возникла необходимость в наименованиях ряда железнодорожных объектов. Довольно долго имелись колебания в выборе названия для *железнодорожного состава, поезда*. В русском языке встречались наименования: цепь, обоз, линия, связь, конвой, цепь экипажей, линия экипажей. Нетрудно видеть, как производилась мотивация названия, исходившая от старого, известного, к новому. А женщина с возрастом обнаруживает, что называет каждого следующего именем того первого, который добавил этот тип в её коллекцию. — Например, вот: высокого роста тёмный шатен, мягкий взгляд обрусевшего совершенно аида, учились в одной школе, он на класс младше меня, довольно интеллигентный, читал Льва Гумилёва, ходил в походы, дружил одно время с Ваней, пока тот не женился на Юле, бывшей девушке Бутакова из той же лаборатории – возможно, быстро утомляется в постели, любитель, наверное, погрузить о всяком непонятном, помню как ел арбуз на кухне однокомнатной квартиры, которую мы тем летом снимали в Новогиреево. Номер первый с таким набором характеристик носил имя *Миша*⁴. Второй и/или третий с похожим набором параметров тоже внутри неё *Миша*, даже если на самом деле *зовут Володей* или – родители заглянули в святцы, не дай вам Бог – *Рафаилом*. Мы так слабовольны и далеки от власти: даже разработанная нами таксономия правит бал на корабле нашей жизни. — В английском же языке поезд стали называть словом train, которое обозначало процессию, кортеж, свиту, шлейф. Это слово мотивировалось глаголом to train, 'тянуть, влечь'. И действительно, Стейси иногда влекло к Киселю, в его вязкое как варенье, однообразное существование. Особенно когда она видела его во сне, он ехал в красном кабриолете 1979 года, петляя по улочкам, то выезжая в пределы видимости океана, то снова углубляясь в береговую линию так, что ветер уже почти не чувствовался. На обтяжку салона⁵ пошёл гробовой синий бархат. Бархат заляпан соусом из протёкших BurgerKing'еров и McDonalds'еров, пролитое не раз пиво тоже оставило свои следы на сиденьях; пружины заржавели от слёз, которые Кисель, как известно всем, льёт по утрам над своей жалкой жизнью. — О, Stacy знает как болит душа Киселя, ей знакома эта острая мука, рвущая его тело как ледяной детский утренник, как одиннадцатиметровый штрафной удар, боль, болезнь Киселя. Она ощущает это как осколок пивной бутылки под израненным языком, у себя во рту. Но ей всего восемнадцать, она так далека от власти: даже прыщавый студент-анестезиолог повелевает морфию и новокаин тоже повинуются ему. Стейси не может ничего, остаётся выносить мусор, пританцовывать спиной к океану, искать салфетку, клинекс...

⁴ *Миша-маленький... нет, не рост... младше... на год. На два?*

⁵ *Полная, с точки зрения Стейси, безвкусица...*

коллоид.... что-нибудь... чтобы остановить кровь.

— Было ясно, что это заведёт тебя ТАК далеко. Ты забыл, что языковое общение биологически нерелевантно для человека. Ясно, что эволюция не создала специального органа речи, и в этой функции используются органы, первоначальное назначение которых было иным. — Ах, я, беспечный дурак, как же я мог забыть, что да, язык, вообще-то, не человеческая, не наша игрушка, чужая. Но смотри, как я потолстел. И, несмотря на это, пританцовываю целыми днями. А ведь согласишься, нет сомнения, что биологической и, вместе с тем, знаковой релевантностью обладает вздущееся от икры брюшко самки рыбы-колюшки и форма порхания самки бабочки перламутровки... и подобные явления... это, конечно, чужая Барби... чужое нельзя... мама говорила, нельзя... но в духе позитивистского такого подхода... может быть, можно?... мне хотя бы... как известному в определённых кругах мудозвону... как избирателю и невольному неналогоплательщику... как непримиримому борцу со snailmail'ом и коммунизмом... как реаниматору эпистолярного жанра... как тому, кто придумал Майю... как МНЕ, наконец. — Боже, как ты меня утомил, вот здесь подпиши. — Где? — Прямо здесь. — Ну, подписал. — Вот уж век не забудем, сударь, такой благодарности. — Так что, можно? — Можно, можно... Теперь всё можно, уплочено. Здесь ещё распишись... — Где, здесь? — Да. — Вот. — Так на чём ты остановился?

— Позавчера, — говорит она, — позавчера ко мне должен был прийти Миша маленький. Он позвонил и спрашивает: что это у меня голос такой испуганный? Я потом трубку положила и вспомнила, что зазвонил телефон я из кухни в комнату прошла и подумала за то время ты звонишь и голос сухой как снег при минус 20-ти знаешь всё хватит говоришь надоело ничего не нужно мне мне больше, у меня теперь другая жизнь, и я понимаю что всё, опоздала, и ничего сказать не смогу [...], а Миша спрашивает: «Что у тебя случилось? Что у тебя голос такой испуганный?». До сих пор я могу отчётливо слышать, как ты это говоришь, у меня сворачивается от этого кровь. Теперь мне всё можно, я всё оплатил, у меня есть квитанция, лежит в бардачке. — И вот, — говорил Акутагава, мёртвый аккуратный японец, Сергеевичу Ушкину, — когда была закончена «Жизнь идиота», представляешь, Сергеевич, он в лавке старёвщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молью. Он вспомнил всю свою жизнь, — всю, Сергеевич, абсолютно всю — и почувствовал, как к горлу подступают слёзы и холодный смех.

Сергеевич Ушкин сорвал розу с куста и принялся жевать лепестки. Все они были одержимы одним и тем же. Все они были захвачены в плен, завтра их расстреляют. Сергеевич Ушкин разорвал белый платок, который всегда носил с собой, на узкие лоскуты, обмотал ими голову, убил проходившую мимо девочку, обмакнул указательный палец в её кровь и нарисовал на белой повязке красный круг. — Проза поэтов, — подумал он, — ограничена их возможностями. Время — вечный странник; и проходящие года тоже путники. Да здравствует император. Да умножатся дни Его. Внезапно налетающий порыв ветра путает мысли. Я не столь талантлив, как Арисима или Селин Дион, — зато лучше, чем они понимаю людей. — Я тут сидела позавчера, — продолжает она, — запертая, замок сломался. Я что-то сделала, разбираю, мыла что-то. А вдруг ты придёшь просто так, не предупреждая, не объясняя ничего, войдёшь улыбающийся (обязательно улыбающийся, а ты помнишь, я улыбалась раньше? Правда, я не помню, я улыбалась? Я обязательно хочу тебе улыбаться, я не хочу тебе плакать

[...] – и вечером ты просматриваешь свои тексты, и растерянно говоришь, и голос у тебя дрожит: я ничего не могу написать я уже не могу написать. [...] Is it a crime? — Да нет, это так просто, just do it, оревуар, alta la vista, advanced поиск со всеми возможными словоформами. Ничего страшного, не бери в голову: просто белок крови моей до сих пор коагулирует в acid'e того, что ты писала уже не мне... и ты... ты это... забывает сосуды... что-то Вы, лорд Кельвин... не взыщите уж... no matches were found for this query... аллергия... кисель... hi there... я так только... похристосоваться просто хотел... мондиализм... ponderosa... расширение... альянс североатлантический... сердце-то зачем тебе, объясни?.. ты же не ешь мяса на завтрак, только кофе и йогурт. — Встретились мы как-то с Варгасом Кошаком, его мусорá по этапу пустили на зону Брока из Устьявымлага. А он тогда как раз на шалашовку эту запал, всё твердил, что скоро, мол, продадут американцам, а лучше канадцам – будешь, говорил, тогда ездить в красном кабриолете и любоваться на океан по утрам. Будешь жить в отдельном апартаменте и по утрам слушать Maxinquaye.— Не хочу, – говорю, – не надо мне твоего кабриолета. — Хочешь - не хочешь, – смеялся всё, – а придётся. Выбора не будет, такие дела. Вот такой он был, Варгас Кошак.

— Зона Брока, если я правильно понимаю, расположена где-то у истоков Yenisey-river? — Нет, ты путаешь, там зона Вернике. А зона Брока километров триста ниже по течению. — У меня такое впечатление, что ты упал и ударился. — Когда? — Когда пробирался между рядами на выход, не дождавшись развязки рождественского утренника. Упал и ударился теменно-затылочной частью левого полушария – под недовольное шипение приглашённых родителей и взволнованных педагогов. — Да, что-то припоминаю такое, шипели родители, упал, что-то было. Кажется, Стейси мне ещё предложила платок свой, кровь остановить... Точно, слушай. Шипели... упал... утренник... помню. Было что-то, а ты откуда узнала? — Видит ли, теменно-затылочная часть левого полушария управлять логико-грамматическая связями языка. Так я и понимаем, что упал бы. И ещё мы тебе подразумевала сказать: им неинтересно ещё, за революционеры достанет, может не продолжайте совсем. Нас совершенно третье волнует, уважаемая Джоэль Михайлович, как Вам, известная писательница, удаваться перевести моторная ваше афазия в афазие семантический и шизоанализ?

— Нельзя напиток, – вслух думает Кисель в своём знаменитом избранном месте из переписки с недругами Сергеевича Ушкина, – нельзя, нельзя напиток этой глупой, ненужной водой из-под шапочно знакомого крана. Хочется жить и работать. НУЖНО жить и работать. Как сказал мне однажды Буковски, настоящие поэты гибнут в дымящихся горшках с дерьмом. Но мы же не настоящие, правда, Стейси? Мы случайно не выветрились из зеркала. Мы же будем жить и работать, скажи? — Мы такие, какие мы есть... ты улыбнулся, да? ты улыбнулся?... сенсорная афазия... неглубокие поражения речевых механизмов ... читала в детстве... утренник... поздний день... личная жизнь... @unr.edu... слишком много читала сказок... голос сухой как снег... единственный способ справиться с ревностью... апартамент неподалёку от океана... утро... **CNN HEADLINE NEWS**... вся мощь информационной империи... обрушить в моё тело... любовь... не могу отказаться от собственного ребёнка... революция... доброе утро... в целом ещё мире... в мире ещё, во вселенной, полной ловушек. Доброе утро, это снова я, здравствуй. — Здравствуй, здравствуй, привет. И прощай, не обращай внимания. Как ты там поживаешь. До свидания, hi there, take care. Да, знаешь, так уж вот как-то вышло. Присел я

как-то на скамейку в парке, возле розового куста. А там мамы и игрушечные зайцы. И я говорил с ними. И они отвечали мне. И я подсказал им способ спасения от всего, – в том числе от волков и от ложного крупа. За это они стали мне благодарны и сказали: назови, чего желает твоя душа и дадим тебе. А я говорю, мол, чего душа моя желает, так they can't take that away from me. А они говорят: а the memories of all that? А я им в ответ: ничего не желает душа моя, отойдите, занимайтесь собой, а меня не трогайте. И отошли. — Мы ненавидим это будущее; будущее собаки, стерегущей дом, – подумал Даниэль Сергеевич Ушкин, – *ведь чтобы сделать жизнь счастливой, нужно любить повседневные мелочи. Сияние облаков, шелест бамбука, чириканье стайки воробьёв, старая леди, маленький Миша, чужая Барби с чумазой физиономией, изометрия, боль, Стейси, как она пританцовывает, горечь валиума, Mañinquaua, лица прохожих – во всех этих повседневных мелочах нужно находить высшее наслаждение. — Чтобы сделать жизнь счастливой, –* возражает ему отец Варгас, благословляя Стейси и Киселя, – *нужно страдать от повседневных мелочей. Сияние воробьёв, шелест неба, чириканье водяного бамбука – во всех этих мелочах нужно видеть и муки ада.*

— Я одна. Образ всё время меняется, подыщи мне другое местечко внутри себя. Булемия, душа, эхо москвы. — Бедный Савинков, Алексей Алексеич в подземном красном кабриолете, выжимает газ, впереди мексиканская граница, только бы он успел. Позади Устьвымлаг, чучело лебеда, школьный утренник. Впереди самка колюшки на сносках, танцующая женщина перламутровки; напряжение полюсов и поездка в Крым. — Как хорошо, что ты подсказал мне этот метод спасения. — Писать? Какая разница... проза поэтов ограничена их возможностями.— Спасения от чего? От чего? — О, если бы знать, если бы только знать. — Но всё равно спасения, пусть и неизвестно зачем, take care, увидимся позже и всё узнаем. Спасибо тебе, не переживай так, не надо. — Да, – отвечаю я, катая во рту осколок пивной бутылки, – не буду, обещаю, до встречи.

СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ

*в голове - эндорфиновый чип, тело как чистый, белый
совершенно лист, на котором пиши что угодно. ветер
сегодня такой сильный, что если бы было лето, листва
бы шумела. Недостоверность, грудная жаба с мягкими
прозрачными когтями, недостаточность
деятельности сердца и сна.*

Это в поиске свободных мест, не занятых никем, свободных от занимающих, мест. Никакой диалог не заменит ничего. Свободные места пока есть, но куклы барби, плюшевые медведжата Teddy Bears и прочие занимают их быстро. Мы обычно не успеваем. Это нормально. Потому что никто не успевает.

Но нужно искать, идти искать, мы натягиваем зимние шапки, теплые перчатки чуть не по локоть, идем. Иногда, забывая дорогу домой, долго катаемся по кругу от “Комсомольской” до “Комсомольской”. Там хорошо сочинять короткие рассказы или еще более короткие стихотворения. Там вообще неплохо, только немного шумно. Как, впрочем, и везде. Но главное - эндорфиновый чип.

а так как мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике. правда почерк плохой. справедливости ради нужно сказать, что учительница первая моя в начальных классах средней, #372, общеобразовательной школы Нина Николаевна старалась. старалась, но не вышло и теперь на твоём пишу, почерк плохой.

общий смысл такой, что облака плывут, ранняя зима и постоянные демонстрации собственных радикализма и маргинальности самим себе за безнадежным отсутствием альтернативных потребителей демонстраций подобного рода. потому что кому же это еще может быть интересно, кроме нас самих? бог бы с ним, с передним краем борьбы за this and that. бог бы с ними также, что они не думают и никогда не научатся. бог бы с ним, с намечающимся, что ни июнь, благорастворением воздушных. наше дело - ловить маленькие летающие [...], только очень косвенно касающиеся

жить на полях, за пределами inner circle [city] - как эквивалент приватности - неужели, действительно, речь идет о способе существования hommes de lettre? нет, речь о другом, а именно о том, что всё-таки всё состоит из мелочей - собственно, не существующих наподобие квантовых объектов, мелочей. там дальше, если потереть в пальцах как следует, даже не то чтобы расползается, а просто типа исчезает, а если подушечки разомкнуть, они снова перестают друг о друга дактилоскопическими узорчиками тереться, и появляется снова. совершенно случайные мелочи - так неизвестно кто за нас выбирает номер телефона и известно кто - имя и возраст. тоже, впрочем, дело случая отчасти. называется уникальность.

текст растиражирован по самое не могу, а примечания - дело личное, шариковой ручкой там, карандашом, капиллярным стержнем. внутри всё ходит по кругу, там платоновское, роскошное, детской каруселькой с китайскими драконами и лошадками пони, время. week-end, неотвратимый [\pm иисус навин], как смена дня ночи from dusk till dawn и vs. на полях, за границами, outta margins (не путать с abroad) - ответвления, не закольцованные ещё в придурковатую бижутерию над районным отделом ЗАГС, где всё санкционированно по двое по трое брачается в конвенциональные соединительные союзы.

открытая дверь, сквозняк, эрос пространства ресайкловой целлюлозы, переработанной бухими финнами в бумагу для принтеров и копиров. такие ответвления, шевелящиеся отростки, смысловые дренажные элементы кровеносной системы, сосудики, капилляры, где еще не остановлена кровь, где она течет каплет хлещет, обжигается воздухом, на котором корчатся и через двадцать минут подымают вирусы иммунодефицита и Mad Cow Disease.

на сотовом телефоне происходит постоянное сканирование канала - а вдруг что появится? - так и здесь: эту детальку сюда, эту хуйнюшку туда, тят-ляп, как придется - и р-раз, полетело! смотри-ка ты... особенно если почерк плохой, вносится дополнительный стохастический фильтр, который неизвестно еще как подействует, но нам все равно, мы же не на вечность какую работаем, а на себя, и еще двух трех четырех⁶⁾.

чем дальше от нас возможность заниматься собственно литературой, тем дольше нам блазнится другая возможность побыть частным лицом. это ут ve;tcndtyuj? уj гјvajhnyj/ [забыл преключить регистр. там написано: не мужественно, но комфортно]. это, конечно, небольшая победа в борьбе “принцип реальности vs принцип удовольствия”, но всё равно приятно, и есть чем гордиться.

это online, то есть живое пока. за живость приходится платить возрастанием энтропии, и общей участи по типу превращения в идеальный кристалл, разумеется, не избежать. но где-то там внизу обязательно должна быть мягкая водяная подушечка, резерв для эволюции, а то, не дай Бог, похолодает - выйдем же.

⁶⁾ вот, кстати и об английских словах в русском тексте, что меня будто бы интересует. это, собственно, выполозание почти за пределы конвенциональной литературности. особенно, например, у Гостевой, где целыми фразами. визуальная та же поэзия более приемлема, к центру ближе. там традиция, освященная временем и проч. а когда калька, фразочка на непонятном некоторым или просто торчащее посреди текста какое-нибудь breakdown - это радикализм, не виданный еще русской поэзией и литературой в частности.

(или см. нилинские крышечки над русскими вроде как гласными)

удовольствие необязательности и никому ничего не должно и вообще никакой не должно и никому ничего. роскошь, конечно, непозволительная, но, с другой стороны - как посмотреть: аудитории нет, язык [на котором пишем] разьебан до полной невозможности и невменяемости никаких преступлений против Бога и человечества. и вообще, успеем ещё вляпаться в мокрый, незастывший бетон и застрять. а пока хлюп-хлюп и следом каток, чтобы не оставалось следов, никакой головной боли. пространство практически изотропно, направления делают пальцы веером во все стороны белого цвета.

так что на твоём пишу за неимением своего. почерк плохой, скрипит несмазанный Бейесов силлогизм, а на кухне синим цветком горит газ. чем шире поля, тем уже муравьиные дорожки Антиквы. page setup как гибкое средство против stawling insects, крадущихся насекомых. клавиша табуляции как оружие пролетариата в борьбе за privacy, private property и право стрелять в [не] приглашенных хозяевами гостей. клавиши Space и Backspace, встречаясь, аннигилируют, вспышка, текст выстраивается сам собой столбиком шириной в одну букву и всё равно в какую. главное - эндорфиновый чип, заремарить лишние драйвера, реестр почистить, памяти прикупить до шести десяти четырех. но главное - эндорфиновый чип.

И прививка от Mad Cow Disease.

Ни желаний, ни сил выходить из дома. Сонник: На ночь оставить форточку открытой - промерзнуть к утру до ангины или воспаления легких. Не пойти на работу - нарваться на недовольство вышестоящих. Не сбежать в ночной магазин - курить не белый легкий Gitanes, а термоядерный черный табак из трубки. Не купить фляжку дагестанского коньяка - снова до утра не заснуть.

Оффлайновый литератор двадцати пяти от роду лет с парезом конечностей рук и ног. Эндорфиновый чип в голове. Пишем, зажав карандаш в зубах, почищенных с вечера и с утра пастами Colgate Total и Blend-a-Med Complete. Паста Гойя, напротив, пылится на антресолях. Сон разума рождает плюшевых мишек.

Всё вокруг в поиске свободных мест, не занятого никем канала, русского поля, где благодать разлита равномерно и как бы случайно, а Teddy Bears облачены в ризы кожаные, выметены поганой метлой и горько плачут в обнимку с куклами барби, умоляюще глядят на ангела-печатника в форме американских GI. Но тот неумолим, каждая страница будущего свёрстана аккуратно под обрез, без полей.

В общем, раз два три четыре пять. Выхожу искать. Это нормально. Никто обычно не успевает. А кто не спрятался - вину определит суд. Потому что свёрстано под обрез и свободных мест нет.

Document done.

ПТИЦЫ, СОЛЬ НЕБА

Столько рассыпано, расстелено белого, – как я написал однажды, – что будет война, которой не избежать. Дипломатические ухищрения домашних животных, комнатных цветов, свистящего на плите чайника, – всё это не приведёт ни к чему. Существа и несущественности, говорящие каждое на своём языке и подпадающие под юрисдикцию различных физических законов, холодный ветер, шелестящий в безлиственных уже кронах за окном, – мы любим собирать коллекции, – не так? Лизнуть почтовую марку перед тем, как наклеить её на конверт, тоскующий по слишком дальнему адресату, проводить потрёпанным конвертом над тонкой струйкой пара, одна из наших коллекций. Плохая работа почт может стоять жизни, как показал ещё Уильям Шекспир.

Представить себе почтовую службу, которая предназначена специально для убийств. Разумеется, все отправления должны вскрываться и тщательно прочитываться, – такая перлюстрация призвана обеспечить максимальное количество смертей. — Следы лунной росахи, следы лесного кролика, холодная земля, – говорит он, закутываясь в колючий шерстяной шарф, – следы нашей ошибочной деятельности, относительно которой мы были уверены, что всё будет хорошо. А вот нет. Это была неправильная мысль.

И. купила дом в городке Железнодорожный. Я. и О. родили мальчика. Т.С. эмигрировала, и теперь её адрес свидетельствует Йельский университет, о котором есть смешной анекдот, плохо понятный существам, не являющимся носителями языка, – какого. И язык, кстати говоря, был неправильный, не тот. Но кто же знал? – спросите Вы. Да, верно, никто не знал. Ну что мы вообще знали-то, если вдуматься? Так, какие-то обрывки. Полупараграфы недоучебников нижесредней, – и то класса где-то до восьмого, а дальше вообще полная труба. Полная тру-ба.

Да, так вот, Йельский Университет, дорогие носители. Совсем, кстати, не то, что Вы подумали. Несущественно, несущественно, – звенит колокольчик. Скрипит деревянная дверка, колышется высокая травка, смотрит подсолнух на последнее солнце. Что же ты, – говорит мне девочка Н., она хорошая. А я ничего. Я Вам показался, девочка Н. Помстился, если это слово значит то, что я думаю. Но вряд ли. Колокольчик по мне звенит, но как-то однозвучно. И снег серебрится в сиянии лунного зайца, который всё машет лапами, – не ходи, мол, туда, там плохо, нельзя. Ну, я же всё равно пойду. И все пойдут. Так надо просто, так получается.

Вдалеке, низко-низко, гудят тепловозы, – привет тебе, мёртвый мой сосед за стеной, упокоившийся от поношенного, с чужого плеча, сердца и ежедневного, небесно-чистого спирта. Высоко-высоко свистят вдалеке товарные поезда, доплеровское смещение незаметно на слух, удаляясь от меня, свистят высоко, – привет вам, слова мои, плодящиеся в телефонной трубке, серой и молчаливой. Птица только сверху уронит перо, вылетит камешек из-под колеса. След росахи, глаза бобра, шерсть полевой мыши, – звери приходят к тебе и поют песни об отчаянии, мужестве и особенностях метаболизма.

Ну, просто так получается или, другими словами, так надо. Купить дом в Железнодорожном, квартиру в Орехово-Зуево, где рабочие. Жить там, где рабочие, плакать и петь вместе с зелеными о тревожной судьбе ветра и нелегкой доле воды. Гулять солнечным днём возле заколоченного Севастополя, кормить чаек и уток с руки, захлопать крыльями, развернуться над Северо-востоком, взять курс на Юго-запад, хватать на лету капли цифрового мёда из густо покрывающих город сот. Мокнуть под ночным дождем. Наохлившись, сидеть на одной из башенок Главного Здания.

Быть, короче, человеческой птицей. Не сеять, не жать, пасть, по возможности, между лилиями. При появлении демонов хвататься за ствол и вопрошать в том смысле, что мол, ты откуда и кто. Не дождавшись ответа палить как в кино, т.е. без разбору и никуда особо не целясь. Орнитологи узнают своих.

Музыка, да, например, музыка, – только ли это вопрос усталости и непривычного, слепящего света? Нет, едва ли. Вспоминается девочка Оля, подруга Е.П., ее рассказ: каждую ночь она просыпается с ощущением, что в ее комнате, в углу, напротив кровати, ворочается зверь без лап и головы. Цепенеет от ужаса, окончательно просыпается и засыпает снова.

Необитаемый мир мой, земля без снега. Сначала тело, потом и всё остальное. Станьте дети, в круг станьте. Хоровод, всё быстрее – до тех пор, пока круг не разорвется, а один из них, выброшенный центробежной силой, не отлетит в угол зала, где его поджидает мягкая куча новогодней мишуры, бумажных гирлянд, серебряного дождика, – какие-то обрывки обоев, стружка: зверь без лап. Следы бобра, черные глаза полевой мыши, не найдёшь нежнее, ничего другого не сыщешь. Выходи искать, смотри, как всё будет.

Вовлечение в пространство. Но как быстро всё проходит, как мало отпущено времени всему. И отчего-то не хватает какого-нибудь всегда. То есть, нет, я слышу, что ты говоришь, я оглядываюсь, я успеваю заметить, ты не подумай. Ветер выдувает пар, поднимающийся от крохотной чашки с чёрным ристретто. Встанем, пойдем ходить просто так, где время, небольшие магазины, старые, с высокими потолками, квартиры коллекционеров, учёных, вдов.

А времени нет, пора. Листаются металлические дощечки расписания на ближайшем вокзале, звери торопятся разбежаться по пригородам, где ночёвка в лесу безопаснее, привычнее, как-то не так страшно, что ли, – среди опавших листьев, корней деревьев, кротовых холмиков, заячьих троп.

И чем скорее ты удаляешься от меня, тем медленнее я нанизываю слова из мягкого сердолика, слова из тусклой яшмы, стекляшки, fake, бусы, анодированные лёгкие сплавы, цветной пластик солнцезащитных очков. Быть, например, человеческой птицей, – без дома, без детёнышей, без книг на полках, – щуриться подслеповато, мигать в ответ на вопросы. Пить из лужи с полуденным демоном, ворошить перья, умирать от чёрного хлеба.

А нет. Ну нет. Это была неправильная мысль. Мы пока ошибались, пробовали, бегали туда-сюда, по колено в хлопотах, день кончился и ушёл. Росомаха заснула. Лесной заяц заснул. Мыши-полёвки побегали-побегали и успокоились. Последняя электричка высадила пассажиров и погасла, осталась у дальней платформы. Одежда и подушки ждут офис-менеджеров, секретарш, водителей, курьеров, директоров по маркетингу, металлургов и корреспондентов агентства Associated Press.

Необитаемое моё, соль рассыпана, расстелены простыни длинной зимы. Не избежать, не спрятаться, не поможет. Спит Железнодорожный, и Орехово-Зуево тоже спит. Птицы нахохлились. Небо – как одеяло толстое, под которым никогда не тепло.

Ни отчаяния, ни мужества, ни, в общем-то, даже, обмена веществ. Калий да натрий. Натрий да калий туда-сюда. АТФ там, лизоцим, который в слезах главное, а не печаль как вы думали.

Вот и всё, собственно, вот и вся жизнь. Вопросы в конце параграфа, мелкий шрифт. Сводки с атмосферных фронтов. Орнитоз, от которого выпадают перья. Воркование, молчание, спазмы коронарных сосудов. Молчание, воркование, тишина, языки птиц. Теплится и течёт: кровь, Яуза, бензин, кислота.

Небесный йод, голубиная соль, необитаемое, плохая работа почт.

АНАЛИЗ КРОВИ

В отсутствие света, в месте, где темнота стреляет с верхнего этажа библиотеки, одним сухим звуком прекращая день, ноябрь, ветер, дождь, косынка развеивается в воздухе, резкое движение вправо.

— Я освобожу ее, – говорит она, поворачиваясь на свет, и вдруг исчезает, вдруг падает на пол и превращается в куколку, в маленькое подобие себя самой, оборачивается к востоку смотрит на утренний свет, забивается в угол, прячется от взгляда, угрожающего ей исчезновением, оцепенением, сном.

Верхний этаж библиотеки, разговоры голубей в вентиляционных отверстиях, семейные разговоры, ссоры за ужином, резким движением отодвинуть тарелку, уставиться в угол, встать из-за стола, убежать в комнату, забиться в угол, упасть на кровать, плакать до тошноты.

Будни девочек, которым никак не удастся вытянуть последний предмет на пятерку глупая ошибка в диктанте темно торопиться в школу утром под развевающимися простынями раннего или слишком позднего снегопада только изредка поднимая голову видеть где переплетаются ветви мужчины в темном советском пальто торопится рядом на службу оскальзываясь на снегу, утоптанном за два с половиною месяца московской зимы на окраинах особенно неприятно по вечерам. Вечер среды, вечер пятницы, вечер вторника четверга понедельника. Утро субботы.

Acedia, кислота отвращения, выпадающие ресницы скуки и сна, низкий гемоглобин, - кровь, алая от СО, белая от горячего молока и близкого снега, то что мы боялись потерять и забыть, стало тем, что мы, наверное, хотели найти, – но время шло куда-то, не знаю как объяснить, вбок, под углом как-то, а слева стояла шкала Реомюра, а позади – шкала Рихтера, и сердце отодвинулось куда-то, наоборот, направо и там стучалось в маленькую меловую дверцу с золотой скважиной, *acedia*, *taedium vitae*, одна из зим.

— Возраст – это когда все поп-звёзды младше тебя, – задумчиво говорит она, глядя в окно. — Это ещё не возраст, – возражает он, – нет, это ещё не возраст, а так, ощущение того, что началось другое, ну не совсем такое, не совсем то, что ты ожидала, не то, чтобы совсем другое, но есть какое-то движение, с трудом уловимое, – раз – и ты ничего не узнаешь, всё другое, – как комната на рассвете.

— Р – значит паркинг, – вдруг говорит она. Он улыбается, — Нет, Р значит совсем другое. — Нет, я сама видела, белая Р на синем таком квадратике, паркинг. — Глупая, – снова улыбается он, опять ты всё перепутала. — Да, – думает она, – опять я всё перепутала, но это неважно, времени осталось не так уж много, а значит, можно позволить себе делать ошибки, сколько угодно ошибок любой степени нелепости, маленьких и больших, я уже взрослая, все диктанты написаны, сочинения сданы и проверены. Осталась самая ерунда, – так, несколько изложений, – и всё.

Пустота окружает нарисованные фигурки детей, животных, растений.

Полуподвальный этаж библиотеки на Красносельской, рисунки Бидструпа и Эффеля, сотворение мира в забавных карикатурах, стеллажи, забитые пыльными книгами по теоретической физике, – вот четырехтомник Эйнштейна в истрепанных черно-синих суперах, расползающихся, когда берешь книгу в руки. Серый, светло-мышинного цвета Фейнман, темно-коричневый де Бройль.

В левом углу – соляризация, псевдосоляризация, методы печати, на глазах стареющие наборы методик, о которых лет через пять никто и не вспомнит, – альбом фоторафий Рима сделанных Джинной Лоллобриджидой. Фотография: на заднем плане горы и море, а здесь – ветер. Ещё как я сижу на твоей уже кухне ночью, закутавшись в какую-то нелепую шкуру, – если бы я не знал точно, что твои родители привезли её из Монголии, я подумал бы, что это белый медведь. Прямо в окно светит фонарь – штор тогда не было – появились ли они? Какая разница. Огонек моей сигареты освещает примерно сантиметров десять вокруг, – когда я затягиваюсь. Ты спишь в комнате: весь вечер ты плакала и пыталась объяснить мне – я, кажется понял, но уже поздно, невероятно поздно, – это не имеет значения. За следующие два года я увижу тебя трижды. Проходя мимо меня, ты опустишь глаза.

Я тоже опускаю глаза, у меня на коленях книга, – в небе слева от меня неуклюже громоздятся белые офисные здания облаков, – и день завтра будет, кажется, дождливым. Где-то ты сейчас за моей спиной, чуть дальше от центра города, – достаточно близко, чтобы мы видели одних и тех же птиц, кружащихся над башнями Северо-Восточного округа.

Дорогой профессор Фейнман, – так начинается письмо, – дорогой профессор, когда я учился в школе, я прочёл все Ваши книги, и теперь я хотел бы спросить Вас. Правда ли, дорогой профессор, что мы можем знать только что-то одно? И что мне делать, уважаемый профессор, если я хочу как можно яснее знать и то, и другое? Есть ли надежда, профессор? Заранее спасибо за ответ.

Будни девочек, спешащих по улице Багрицкого в школу, что прямо под нашими окнами, неуютное тёмное утро, – кто освободит их, – кто освободит нас, пьющих кофе, постепенно превращающихся в хитиновые оболочки усталости, спешащие на службу, чтобы встретиться вечером с закрытыми глазами, на веках приплясывают тени, отблески последнего выпуска новостей.

Autarkeia вряд ли возможна в середине зимы, когда нам должно быть тепло, тепло любой ценой, когда испуганно оборачиваешься, и там, где слева стояла расплывающаяся тёмная фигура, оказывается просто еще одно твоё воспоминание, неосторожно поднявшееся со дна, чтобы вмёрзнуть за ночь в лёд так и не состоявшегося события. Можно подойти, потрогать, побыть рядом, поцеловать.

Morosius означает – мрачный. Мы не мрачны, нет вовсе, нам хорошо, нет, всё в порядке, нам просто холодно, мы просто никак не можем согреться, что при московских зимах не удивительно. — Я освобожу её, – говорит она. Да, конечно, стоит только коснуться, чуть-чуть сдвинуть ручку настройки, а там – темнота коротковолновая и скрежет помех, ни речи, ни музыки, ни забавных реплик эффелевских рисованных прародителей. Стряхни градусник, я принесу тебе аспирину, чтобы сбить жар, поспи немного, я посижу рядом с тобой. Я побуду ещё немного.

Ещё немного побуду.

Я тут вчера читал пантонную книжку, так там всё про всё написано. Что беспокоиться незачем, что, мол, беспокоиться незачем, если за окном на улице снова, скажу вам, и любой подтвердит, только огонь и воздух ещё, сказано всё, выбиты летние выходные случайно, с нескольких, буквально, шагов. И ничего, ничего совершенно не бояться, вовремя укладываться спать, нравиться публике. Да, отвечаю, я ещё здесь.

— Как там сердце моё, – спрашиваю, подросло ли, поливаешь ли, беспокоюсь. Нет, так беспокоюсь, просто так, не потому что. Я без него нормально, да, нет, не надо, нормально, да. Мало ли что. Я так спрашиваю, так просто, нет, пусть будет, не надо, я так, интересно просто.

Другая кухня – невиданные тогда чайные чашки коричневого стекла, – тоже наверняка откуда-нибудь привезённые, пять утра уже, дождь, а в шесть мне встать, прогони меня прямо сейчас. — Ты остановись, если можешь. Я не могу. Голубая, махровая ткань. — Или я что-то путаю? Ладно, какая разница, в самом деле? Да, хочу путаться в показаниях и вообще take the fifth, у меня есть права, – ну, хотя бы эти.

А прочее – сфера и вовсе академическая, суховатое изложение на твёрдой бумаге, к каковому я небезуспешно временами стремлюсь. Дрожащая бумажная сфера. Из конца в конец, далее без остановок. Будни девочек, спешащих в школу и из школы. Изложения и диктанты, сочинения, словарные работы, городские контрольные. По утрам на западе Москвы темно как нигде, холодно как никогда больше, классное руководство отвратительно как тёплые пальцы парикмахера, ощупывающие затылок ребёнка. Ничего моего в твоих тетрадах. Верхние этажи, сквозняки, шум метро, тишина в переулках, слёзы.

Тоска по книжности жизни, по ясности словаря. Inanimis, nudus, frigidus. Полуживой, голый, озябший, радиоволны щекочат меня, нет, не прикасайтесь ко мне, я остаюсь, здесь мой паркинг на все оставшиеся мне ночи. Будь моим снегопадом, дождём мне, ветром кому угодно, огнём моему телу, землёй для моей дурацкой памяти, воздухом для моих лёгких, выплакивающих по утрам мокрòту и страх.

В отсутствие света, в осином гнёзде сквозняков, в сердцевине брежневских щелястых многоэтажек, на краю северо-востока, в последнем из московских миров, где по ночам поезда, – кольцевая неподалёку, – башни Дельты, НИИДАРа, Гипропроекта. Резкое движение вправо, освобождение от физкультуры, изложение, диктант, сочинение, упражнения на дом, *autarkeia*, полуживые ткани. Член, – напряженный, тёплый, тыкающийся в мягкое одеяло, утренние выпуски новостей, лица телеведущих.

Государство Отцов подкидывает своих мёртвых полуразложившихся кукушат в обжитые гнёзда людей, – трёхкомнатные, однокомнатные, окна утеплены, посуда вымыта, – правда, штор на кухне ещё нет, но это вопрос времени и необходимости. Мы поим их молоком, аспирином шипит, растворяясь в водопроводной воде, ухаживаем за ними, беспокоимся, боимся, оставляем их, редко звоним, они тоже редко звонят, что поделаешь, *autarkeia*, новые времена.

Советские будни детей, беспорядочная стрельба темноты, диктант на рассвете, отступление, атака, мы оставили Перекоп и Каховку, мы отдали Крым, наступление на Петроград захлебнулось, они заняли Дон, поручик Крыленко приказал нам капитулировать, мы эвакуировали Новороссийск, Приморье, Одессу. Наше дело белое, мы вернёмся вместе с похолоданием. Пустота окружает нарисованные фигурки детей, животных, цветов. Всё ждёт нашего возвращения, – всё обнажённое, полуживое, озябшее, – на исходе волчьего времени Воспитателей, Отцов Нации, неулыбчивых последышей глухонемой музыки.

— Это *acedia*, профессор, *acedia*, я, кажется, умираю, – посмотрите внимательно, – какая у меня белая кровь, – как холодный снег белая, как горячее молоко, остывающая как зола, как молоко с мёдом густая как липовый мёд, белая как бумага. — Ты не умираешь, глупая, ты всё перепутала, – ну посмотри, посмотри на меня, зачем я буду тебя обманывать, мне ни к чему.

Тихие разговоры голубей, школьные дни старательных девочек, фонетика и морфология языка потерь, которым они овладеют в совершенстве, – но позже.

А покуда – она принадлежит только самой себе. Вернер Гейзенберг посещает её сны, свободные ещё от желания *mentula*, от страха *eispein*, от пугающего чужого шёпота *te irruito*, *иллюха*, *te irruito*, я хочу. Вечер четверга сменяется утром пятницы, идёт снег, разговоры в учительской отдаются глухими ударами сердца, – поливаешь ли заботишься ли подростку наверное не узнать, – *autarkeia*, хитин, северо-восток, запад, время зимы.

Гемоглобин твой, РОЭ твоё, кислота тоски твоей, сахар страха. Дрожащее, пушистое тельце отвращения и любви. Замри, слышишь, умри, не воскресай, замри, слышишь, ты.

Оставайся такой.

НЕПОНЯТНО КТО

НЕПОНЯТНО КТО

Переместиться в ванную, в воду совсем. Тут уже не читать только, но и писать. Ну вот что подумала продавщица в аптеке 36,6 когда я днём сегодня покупал у неё “Цифран” без рецепта (прекрасное, кстати название для лекарства. Everyone’s invited). Что бы она ни думала там, она это думала до тех пор, пока я не попросил у неё ампулу с урографинном.

Мне чтобы писать дальше. Хвалите меня, хвалите, а то никакого стимула. И так трудно, а тут ещё никто не хвалит. Я серьёзно, кроме шуток. Хвалите меня поэтому, будет для чего выбалтывать.

А сердце уже не заходится при этом слове как раньше. А то ли нечего стало выбалтывать. И глядеть не на что.

Ну вот, например, выходишь на кухню в четыре часа ночи. Ну утра, ладно. За окном дождь, мелкие капли отсвечивают на стекле, по ту сторону. Зажигаешь сигарету, лекарство пахнет еловым чем-то, горьким маслом. Тоже опыт.

Хвалите меня. Потому что иначе чего я тут. Ах Саша, если бы Вы знали, Саша. Чего стоит не брюзжать и не злиться. А раньше получалось как-то легко.

А теперь-то как трудно получается. Чаще не получается совсем.

Но зато известно, что правда на нашей стороне. И что с нами бог, которого нет. А который есть, он in sides, и как его привлекаешь на какую-либо сторону, так его сразу не становится. Это как неустойчивая элементарная частица. И принцип неопределённости Гейзенберга тут крутится где-то тоже. Но это всё равно совершенно, вся эта неустойчивость, а может быть даже диссипативность. Это безразлично, потому что если он и есть где неопределённо и навроде волновой функции, так нас там нету, потому что антропный принцип, там для нас не предусмотрены свойства всякого.

Я как-то так это понимаю, что можно писать, к примеру, чтобы отвлечься. Ну, глупо звучит, да. Но ничего лучше мы не придумали уже, не удосужились. Это потому, что с нами бог которого нет. А это сильно вообще. И много что означает.

Что ты, родина дорогая, смотришь так кривовато, ротик морщишь? Ты от этого ещё, знаешь, некрасивее. Перекошенный какой-то вид, как после неудачно проведённой трепанации.

Какое всё-таки счастье-то, а? Ручкой-то по бумаге. Эх. Зря забросили это дело. Так отвлекает замечательно.

Ну, будем, говорю, читать про Гренландию, переиздали, слава богу (и отпускает, кстати, отпускает, растаскивает, как Ира написала). Ночью читать, наутро, за завтраком и потом в ванной.

Вот буду большой, буду брюзжать и злиться сколько влезет. А влезет, дорогой читатель, я тебя уверяю, мно-ого. Хотя когда я буду большой? Я уже больше теперешнего вряд ли буду. Вон я какой большой уже. В Банке работаю. Так что же мне, сейчас, выходит, брюзжать и злиться? Нет. Нет, нельзя, меня так любить никто не будет. Стану как всеволод николаич, только такой, негениальный. Такой буду мелкий, злобный и негениальный всеволод николаич. Только львовский. В приличный дом не позовут, никто любить не будет.

Не буду брюзжать и злиться, Саша, ладно, Вы правы, наверное.

Вон тени ходят по стеклу, сказка про чёрную коровку, исследование бессилия. Хорошо вот я, кстати, придумал, хвалите меня. Вы думаете что, только раз в квартал, по случаю? Нет. За каждое, буквально, хоть более или менее удачное слово.

Это когда перепечатываешь на экран, сродни издательской деятельности. Тут тебе и прямота лирического жеста, и шмуцтитул, и обложка светящаяся. И тираж неограниченный, кстати. Благодать, если подумать.

Хороший способ отвлечься. И издержек почти никаких, это важно в тяжелые времена вроде наших. Хотя, на самом деле, по-настоящему тяжёлые времена ещё не наступали, они только предстоят. Время немоты и время боли. Время декабря и время апреля. Время отступать и время прятаться. Время предавать и время красть. Время терять в тишине и время находить чего не хочешь на самом дне души, как бы и не своей теперь. Это всё впереди.

К пяти утра, тёмного пока, февраль, отпускает. И бредёшь наощупь в постель, под клетчатое одеяло, дрожать там как мелкое животное. И совершенно никакого оправдания, потому что ты крупное животное. Крупные животные должны по-другому жить, они не для того крупные, чтобы дрожать и бродить по ночам из кухни в комнату и наоборот. Они вообще не должны помещаться ни в кухне, ни в комнате. Если это, конечно, не для них специальное помещение. Но такое помещение называется клетка, а мы и так все из клеток, у нас их внутри сто тыщ миллионов, чтобы ещё снаружи зачем-то.

Если ворчать и раздражаться, то нужно быть не просто крупным животным, а хищным. Хищникам нельзя дрожать совсем – они гибкие, и движения их, по идее, плавные, аккуратные такие. Как в кино. То есть это надо понимать так, что хищник из меня никакой. Так. По порядку давай, хорошо? Хорошо. Крупное? Крупное. Но не хищник? Не хищник. Рога? (Трогает). Рогов нет. Совсем? (Трогает). Совсем.

Непонятно, кто.

Что ты родина смотришь так опять? И бормочешь недовольно из телевизора своего? У тебя таких не сосчитать. И не надо делать вид, что мы тут как-то так сами завелись незаметно, пришли откуда-то. Не надо.

Их там разводят таких, в литобъединениях, мы, надо надеяться, не совсем такие. Насыщенных мудаков разводят без различия религиозной и национальной принадлежности. Они ещё хуже нашего будут, потому что с рогами, можно потрогать. Твёрдые такие рожки. Бодаться за правду, любовь и настоящую литературу. Мы с ними сталкивались. Но сразу уходили, потому что невозможно совершенно. Видишь такого, сворачиваешь и бежишь в магазинчик за водкой или за коньяком, я вот за коньком, отвлечься, как он выглядит забыть. А он ещё долго тебе вслед кричит про любовь, настоящую жизнь и искреннюю литературу. И рожками поблёскивает в свете фонарей.

А тут смотришь в зеркало на себя, и совсем непонятно откуда взялось и что с этим делать. Долго тыкаешься в механизмы родины. Там все пазы и гнёзда какие-то нестандартные, некуда сунуться, можно резьбу ей сорвать, а она тогда совсем ненормальная становится, знаем. То есть, тут не пристроиться. Потом смотришь на чужие родины, среди которых даже попадаются отдельные отчества. Там вообще все совершенно гладко и уж точно не привинтиться никуда, приклеиться только если. Приклеенному плохо жить и неловко как-то. Всё время ощущение, что ненадолго и развалится вот-вот.

Так и стоишь в непонятках, окружённый поблескивающими рожками и хлопотливыми мудаками. Потом прихватывает и начинаешь снова ходить из кухни в комнату, смотреть в окно, где капли и тени веток. Присаживаешься к экрану, попишешь немножко в тетрадку, в телевизор потаращишься с недоумением и ужасом. Потом ложишься спать.

Снятся трудные времена, сердце заходится криком как живое, никто не любит, мясо злобится и брюзжит, хлеб морщится, молоко убегает. И ты, крупное животное, стоишь посреди проспекта, видишь, как в город входят чужие войска, первая колонна, вторая и так далее, сотни тысяч солдат, незнакомый отрывистый язык, и вот ты стоишь посреди всего этого бедлама, трясёшься от страха, запрокидываешь голову. А оттуда вдруг падает невероятный свет, слепящий и пустой внутри себя. Такой, что если зажмурить глаза, а потом закрыть лицо руками, он становится ярче. И не просыпаешься, так и стоишь.

А он смотрит, смотрит, глядит сверху, со всех сторон, изнутри тоже и видит тебя только таким, какой ты есть.

ВСТАНЬ И ХОДИ

И вот они сидят, разговаривают, о да, о чём-нибудь, ну, о чём-нибудь, скажем вот, пожары и вид на урожай сверху и чуть слева, а урожай в этом году превысил, между тем, все мыслимые, на беду. Разговаривают, это мог бы быть чай, зелёный и чёрный, листья и ствол, но другое что-то, более жгучее, что ли, лампочка тускло светится, отопительный сезон ещё не начат, музыка кружится и поскрипывает.

О чём ещё? — Скажем, – говорит Нина, – нет, это совершенно невозможно, какие бы истории я не рассказывала, это всё, на самом деле только о нём истории, вот, например, как он уехал, а я всё ходила по квартире и находила в ней места, в ней было вполне достаточно места, это была новая квартира, почти без отделки, полы чуть ли не бетонные, но мне было во всех её местах как-то узко, что ли, не знаю. А потом я стала звонить на мобильный, а это роуминг по три доллара за минуту, который включается только около крупных городов, а какие там города, и кричала в трубку, чтобы он не уезжал или хотя бы приезжал, а то тут нет без него места, и я так не могу.

— Ага, – говорит Лада, я знаю, так бывает, осенью это как-то особенно, ну, мне трудно, с одной стороны это понять, потому что мужчина, вот у меня есть один приятель, я ему один раз сказала, что ну, я не могу ничего поделать, потому что это я не могу с ним говорить как с мальчиком, а только могу с ним как с ним, он, кажется, обиделся, но ведь действительно, я же не могу ничего поделать, у всех не отсосёшь, хотя я к нему хорошо отношусь. Хотя я понимаю насчёт места, это да.

И тут приходит ещё сосед, тоже мальчик лет тридцати, а с ним его жена беременная, они так просто приходят, потому что вечер пятницы, и когда же приходит ещё, а Нинка, совершенно пьяная уже, начинает приставать к ним в том смысле, что как они решились ребёнка и в этой стране и вообще, а мальчик отвечает ей, что никакого потом не существует, а есть вот только то, что сейчас, и всё, больше ничего нет, это кажется, а она всё не отстаёт, пытается понять, но ей это трудно понять, потому что она не родила уже трёх детей и всё от нелюбимых и каких-то вообще бессмысленных, а что здесь и сейчас – это ей объясняли много раз, но каждый раз потому что хотели её выебать, поэтому её начинает рвать уже от этих слов и вот, её рвёт в ванной, а Лада свернувшись калачиком в кресле, то на мальчика, то на девочку – глядит и думает только о своём ребёнке, который вот-вот, но пока нет, но уже совсем вот-вот, ещё две-три недели. А мальчик сосед тридцати неполных как в песенке, с женой девочкой совсем двадцати каких-то, что ли, лет переглядываются и чувствуют себя слегка не, но вроде и уходить неудобно, только пришли, зелёный и чёрный.

Нина возвращается, лампочка такая же, но вроде, говорит, круги вокруг неё, они говорят втроём про то, какого же именно Александра Ивановича не было, и как это лучше перевести на английский, такие разговоры, Лада сидит по-прежнему там, в кресле, думает про ребёнка, конечно, но не скажет и смотрит на живот мальчиковой девочки, которой уже вот-вот, месяца через два, что ли, ну, может, несколько дней туда-сюда (девочка хихикает), Александром Ивановичем у неё

звали отчима, нет, ничего, никаких, это же не кино категории Б, не телесериал, прекрасный человек, а отца она мало помнит, тоже ничего особенного, свалил при первой открытой дверце в алисин сад, конец семидесятых, была в гостях, хороший тоже, чего.

Мальчик с девочкой уходят, потому что вроде поздно и бесполезно, Н. и Л. остаются снова вдвоём у беспорядочного стола с небольшими количествами всякого оставшегося, Л. выпивает ещё немного, меньше, чем на десять глотков, ну нельзя, но так получается, может и ничего и смотрит на Н. и говорит, что нет, я не понимаю, ну не понимаю, как ты это всё, уже давно бы всё было как ты хочешь, что мешает-то? А та берёт сигарету из бело-голубой пачки, которая обязательный атрибут таких вот именно девушек как Н. и говорит, что она хуй его знает, как так вот именно получается, уже давно бы, но вот уже давно нет.

И Л. говорит ей, что нельзя просто так ебаться, а нужно думать о ребёнке, и тогда всё получится нормально, потому что вообще, если вот как обычно, то всё получается нормально, а Н. говорит, что вот смотри, ну ты же их видела, всё нормально, ну и чего, ты бы так хотела что ли? А Л. говорит, что да, вот именно так она бы и хотела, но это сложно немного, а на самом деле, да, всё должно быть вот так, и вот так всё будет, к этому всё идёт, она уже полтора года не может заниматься любовью, и ебаться не может, если не думает в это время про ребёнка. Н. улыбается, ну, не то, чтобы с издёвкой, но улыбается, улыбается и говорит, что, понимаю, наверное, да, но придётся, видимо, всё-таки прибегнуть к чьей-нибудь помощи, потому что знаешь это, про кошечку и собачку, – *потому что вы обе девочки.*

И тогда Лада говорит задумчиво, глядя перед собой: нет, нет, понимаешь, я её очень люблю. А значит, у меня может быть от неё ребёнок, будет, обязательно будет ребёнок, это возможно, я точно знаю, я уверена, ребёнок может быть, будет.

— Просто это очень трудно, – говорит Лада, – понимаешь? Просто это очень трудно.

НЕ КЛЕИТСЯ

Не клеится, – жалуется он, – не клеится. Ни белком яичным, ни маминым молоком, ни рыбьей кровью, не сходится позвонок к позвонку, а только какой-то бесконечный лай, какое-то непрекращающееся мяуканье. Какой-то только суп из вываренных хрящей и слёз мелких млекопитающих, – жалуется.

Только выключишь ненадолго обогреватель, как уже выстывает, ничего не держится, невозможно жить, а только короткие строчки, совершенно без смысла, как встаёшь утром, идёшь в душ и дрожишь под ним, согреваясь, как просыпаешься в четыре пополудни, в темноту, и никакого утешения, что на пятьдесят восьмой параллели ещё темнее, есть много мест, где ещё темнее, мало ли.

— Что, – жалуется Марик, – только подумаешь об этом чуть внимательнее, чем водомеркой по поверхности холодной речки в детстве, – всего немного внимательнее, как руки уже ходуном и святитель глядит укоризненно с бревенчатой стены, неизвестно откуда взявшейся. И обмираешь, проваливаешься, а во рту оскомины от несъеденного за последние трое суток и голова, голова, и глаза, но это уже предмет медицины.

Знаешь, как жить на тёмной половине, очень хорошо представляешь себе во всех деталях, в подробностях, как заклеивать окна, потому что скоро они прилетят, как спускаться по выщербленным ступенькам в подвал, это знаешь. И знаешь, как выглядит лебеда, полезное знание, доставшееся в наследство от мамы, у лебеды мягкие катышки свисают кистями, непонятно, как добавлять её в хлеб.

Знаешь, твёрдо выучив: клод и клаус, этель и юлиус, игорь и андрей, — next day, не сегодня значит, понимаешь, зачем в конце некоторых линий метро построены открытые платформы, смыкающиеся с электричками, всё равно бы ни хуя не успели, несколько миллионов человек, так разве только, для отчётности. Твёрдо выучив, знаешь: после читал Махабхарату, нет, не ту, что теперь у метро, с лубочным тёмно-синим Кришной, а другую, видел своими глазами ступени, по которым ходили асуры, в полметра высотой, видел радугу вокруг солнца, которую нам обещали, землю, сочащуюся кровью, мутные реки. Всё правда, всё так и есть.

Что, – Марик жалуется, – не спать, кричит отовсюду всё, каждая мелкая вещь, не спать, – кричит, из каждой точки, не спать, не заснуть, колыбельной не услышать, едва пробивается сквозь вой, lullaby, bye-bye, time for goodbye, задёргиваешь шторы потому что зимнее солнце и дым из двух труб, если выйти на балкон, то сожжёт мясо с костей, так что знаешь, давай-ка лучше заварим чаю, сядем пялиться в монитор с падающими цветными квадратиками, потому что страшно, страшно как в детстве не бывало, как ни бывало, как никогда не бывало.

— А до первой мировой, – бабушка говорит, – всё иначе было. Это потом уже, когда немец пришёл, крылья расти стали, а Марик улетел за урал, потому что

считалось, что там жить лучше, а до империалистической нет, всё на месте сидели как кролики, травку ели, спать, такая, её Святой Серафим ещё придумал и людям дал, чтобы они ели, пока стоял на камне, придумывал её в голове, представлял себе, во всех подробностях, как у неё листики, корешки, она и появилась, так вообще при царе много что появлялось, в Сарове особенно. А потом пришёл троцкий, у него огонь был изо рта и венец на жидовской головке, лобик маленький, он придумал Арзамас-16, и стал Арзамас-16, но уже к этому времени крылья перестали расти, вот Марик только, братик мой маленький, я к нему по ночам вставала, мама-то уже не могла, давала ему хлеб в молоке вымоченный, чтобы он плакать перестал, а крылья резались уже больно было, наверное, или чесалось, а врачей не было уже как война началась, они все с немцем ушли, врачи, и лекарства унесли с собой, а Марик плакал.

Не клеится, – жалуется Марик, – ну никак, ничего, вот эта деталька, – она откуда, этот запах ацетона, этот кусочек серой пластмассы, вот этот желудочек левый, он откуда тут вообще, куда его, не понимаю я? – Знаешь, – говорю, – давай-ка мы с тобой лучше поспим, давай-ка мы выпьем горячего молока с маслом и мёдом, давай мы укроемся пледом, давай мы сходим в зоопарк в воскресенье или в субботу, давай встанем попозже завтра, давай не пойдём на работу, потому что знаешь, утро не возьмёт свою дань, мудренее вечера, запутаннее, но всё-таки как-то же и светлее, как-то всё-таки и в снежки играть, и пойти в цирк, и обычная жизнь, обычная, нормальная, обычная жизнь.

– Понимаешь, – говорит, – когда я смотрю – сначала *вперёд*, потом *вправо* и *вверх*, я всегда вижу там ускользнувшее движение, взмах какой-то, как будто бы что-то выпорхнуло, улетело. Понимаешь, – говорит, – когда я открываю один из томов «Истории гражданской войны» с вымаранными на титуле именами, там просто так аккуратно чернилами вычеркнуто, а потом ещё вырвано два портрета, я думаю про Арзамас-16, у меня лопаются барабанные перепонки, потому что визжит сирена оповещения, она для того визжит, чтобы живые потом мёртвым, и я тогда вспоминаю про подлётное время, и как я обмирал лёжа в своей комнате, что они скоро умрут, что они, оказывается, умрут, и совсем скоро, потому что ярче тысячи и электромагнитные факторы поражения.

– Марик, я говорю, Марик, ну перестань, что ты, ну глупости же, мы с тобой уже дожили до того момента, что у всех семьи и дети, хорошие заработки, работа, всё есть. – Задёргиваешь шторы, чтобы не видеть, как светится, чтобы потом лежать ничком от недостатка света, от слишком короткого светового дня, чтобы каждый раз, глядя на пепел, думать о литии, о цезии, об изотопном составе огня, о том, как бы они давили друг друга на Ждановской, на Кунцевской, на Беговой, на Петровско-Разумовской, о том как дети плакали бы, а женщины орали и выли, потеряв в толпе мужа или ребёнка, как мужчины убивали друг друга, а двери, тем временем, закрывались, и электрички не успевали, вспыхивали как селитрованная бумага, ломались бы по сочленениям, их расшвыривало бы по окрестным полям огненным валом, а от вагонов не оставалось бы даже выгоревших скелетов, потому что несколько миллионов градусов.

А троцкий стоял и смотрел бы на всё, улыбаясь, а трумэн сдвигал бы указательным шляпу на затылок, а клод размахивал бы руками и кричал ровно

пронзительно на одной ноте и пытался привстать из коляски так что бёлки разбегались и забирались высоко на деревья а снег вокруг св. Серафима таял расширяющимся на глазах кругом и свет просачивался из коридора сквозь неплотно прикрытую дверь в мою комнату и дом напротив светился несколькими окнами и я просил положить меня на ту ночь в большую комнату вместе с родителями но у них вероятно были свои планы на ту ночь и у св. Серафима были свои планы на нас на всех и у Господина Президента тоже были и у троцкого капала кровь из-под колючек стекала по низенькому дегенеративному лбу и из каждой точки из каждого пересечения ветвей за окном орало какое-то маленькое умирающее животное небольшое вроде морской свинки хомяка землеройки на тысячу голосов так что этель зажимала уши а юлиус уже сведенный судорогой пытался ещё обнять её погладить сказать напоследок наклониться что ли поцеловать что люблю но уже всё тут я почувствовал что простыня подо мной горячая мокрая мокрая горячая а свет в коридоре погас и мне показалось что это я не описался мне показалось что это кровь.

История, – говорю я ему, непрожитое нами время, то, от чего мы как-то умудрились ускользнуть, случайно выскользнули, успели, у них были планы на всех нас, мы случайно только там не сгорели, не получилось что-то у них, сдвинулось, знаешь, а может так просто передумали, мы же не понимаем как они устроены, это же не белок из чего они, не мамино молоко, что они пили, не самолёты, на чём они летят, и они — не мы. Мы же здесь, вот какой-то же год, дети у всех, хорошие заработки, глянцевые журналы, дизайн, связи с общественностью, самый дорогой контракт в истории издательства N, сценарий сериала для BBC, передача на RFERL, конференция в Хобокене, два дня в Южной Калифорнии, девять месяцев в Северной, книга Кирилла, книга Жени, книга Линор, фабрика звёзд.

— Нет, – говорит Марик, – ты не понимаешь, не клеится, не сходится, ответ не подходит. Я там так и остался, я в этой электричке сгорел, до Малаховки не доехав. И теперь не клеится, я не понимаю: вот эта деталька, этот запах ацетона и то, что он, ацетон, делает с кожей на подушечках пальцев, эта строчка из железнодорожного расписания, вот это про сам спасись и тысячи рядом с тобой спасутся, тоненькие листики сныти и плоский камень, очередь к секьюрити в LAX, закрыть лицо руками, помотать головой в жесте отрицания, мелкие млекопитающие, ничего не клеится, ничего. Не совпадает. Тогда я встал, разбудил их, хотя, наверное, они не успели заснуть, вспомнил всё это только сейчас.

Они, другие они, ушли и забрали с собой лекарства, а там очень болело и прорастало сквозь кожу, которая краснела, потом рвалась, и там текла кровь и чесалось. И это, конечно, были никакие не крылья, хотя при помощи этого можно было летать. Потом там, ниже, где почки, началась тоже какая-то ломкая, невероятная боль, это продолжалось две недели так, что не распрямиться ни на минуту и ни хуя не помогало лечь в горячую ванну, а лекарства свои маслянистые они забрали с собой, чтобы мы умерли скорее, но мы не умерли как-то, а лекарства их тоже не помогли бы, хоть на кусочек сахара, хоть с чайной ложечки, всё равно.

Это были, конечно, стабилизаторы, которые поют, что мир вашему дому, как мы помним из родительской фонотеки на растрёпанных, пахнущих осыпающейся плёнкой шипящих катушках. Бабушка не одобряла, потому что какой-то бесконечный хрип, через который едва пробивалось то, что потом стало колыбельной, недетской, конечно, орущей сквозь пять месяцев зимы семьдесят девятого года, за год до её смерти, но колыбельной, хоть как-то успокаивавшей, что бывает и так, что ты не один знаешь про этот визг, про мелких мышей господа бога, которым всегда больно, которые хрипят под щёлкнувшей рамкой небольшой мышеловки, и не хрипят уже, свет в коридоре погас, – да, как ты, как ты каждое утро, как на первом уроке ты, как ты, точно так же как ты, и ты уже не один.

Марик, Марик, мальчик, обоссанные простыни, что там, за Небесным Уралом, о чём поёт пеночка, что говорит лёгкое раннее солнце над искрящимся снегом, что думает себе машинист твоей электрички, куда ты едешь, кто встретит тебя на перроне. — Никто, – говорит он мне, – знаешь, никто. Я просто выйду на это белоснежное только что расстеленное бельё одиннадцатой зоны, не доезжая, кажется, Воскресенска, в палатке мне продадут сигарет за смешные, по сравнению с московскими, деньги, какой к ебням Урал, сутки езды, я не выдержу столько. И потом, представь, пьяные мужики в купе, хорошо если менеджеры среднего какого звена, а то ведь большие начальники там, на Урале, в Москве, то есть, никто, разговоры как ходили по бабам, ебли одну втроём всю ночь в гостинице хуй знает сколько раз, и в рот и в жопу, по-всякому, такие, блядь, суки, у вас в Москве только, не, у нас всё путём, девушки скромные, – и смеётся. — Нет, говорит, ты с ума сошёл, Урал, поезд, огонь. Никогда, говорит, никогда, никогда, и не думай.

— Не клеится, – говорю я, понимаю, не склеивается, не совпадает, получается вязкий какой-то суп, клейстер, обойный вязкий бульон, окна крест-накрест. Но послушай, мы дожили, смотри, с тобою до этих лет. Смотри, мы умеем это и то. Смотри, чего мы ни пожелаем всё исполняется немедленно, чуть не на завтра. Смотри, мы веселы, счастливы, вроде того талантливо. Эта серая деталька из пластмассы сюда. Это слюдяное крылышко чуть выше, чтобы по аэродинамике полетело, эту кровь, которой сердце твоё не то писается, не то, страшно сказать, кончает, выжми сюда, в раковину, этот огонь, в котором мы с тобой должны были сгореть, его вот сюда, к кончику сигареты, землероек этих сюда, тут высокая трава, двенадцать соток дачного участка, эту боль на уровне почек, её туда, в бабушкину последнюю больницу, 31 августа 79 года, ей там, двадцать четыре года назад, всё равно умирать. И только вот это, – я говорю ему, – вот это твоё *на балконе*, вот это твоё *так хорошо, как только могло* я не знаю куда девать. Пурпур твой, твой шафран, деревья, москву эту твою чистые эти твои пруды алтуфьевское твоё в пять утра утра две бутылки абсента из Бостона в котором я не был последний переулочек тёмное в ноябре шоссе я не знаю. Это ты как-нибудь сам.

— Да, – говорит он, – это я сам, конечно, это я сам. Я как-нибудь, ты не переживай, всё получится, склеится когда-нибудь, прирастёт, вырастет, прорастёт, вспыхнет, электромагнитные факторы поражения. — Ну опять ты, – грустно говорю я. — Ну да, – отвечает, опять, ну прости, ну что же мне делать, я стараюсь, но видишь, не получается. Кровь со лба троцкого, пахнущий

звериной мочой растаявший снег вокруг св. Серафима, кирпичные пятиэтажки Арзамаса-16, пот трумэна, подсохшая сперма на войлочных стенах палаты клода изерли, чёрно-белая фотография сахарова, просроченные лекарства, свет сквозь неплотно прикрытую дверь, мамино молоко, слёзы мелких млекопитающих, этель и юлиус не клеится, не получается.

— Спи, – говорю я, спи, – утро вечера мудренее, всё будет хорошо, ты справишься, ты не сгоришь, ты доберёшься до европейской части, там у тебя будет дом, будет время, все останутся живы, все спасутся, утро не возьмёт свою дань, никто не возьмёт, ничего не бойся.

— Да, – отвечает он, – да, хорошо. Цепкими мускулистыми лапками разрывает мою грудную клетку, вспарывает коготками, ранится осколком ребра, мех пропитывается кровью, но это по хую, всё высохнет на ветру, над океаном снова промокнет, стечёт дождём, заживёт до третьей большой войны, лети ангел мой, не выёбывайся, не думай ни о чём, всё заживёт, давай я спою тебе lullaby, выговорю bye-bye тебе, скажу, что time for goodbye, и до свидания, возвращайся, не умирай.

По воде

Розенкранц и Гильденстерн плывут, плывут

Э.Ц.

— А ещё, — говорит она, — я видела такой фильм, вроде *Га-амлет*, только смешной такой. Там когда он девушке возвращает подарки – ну письма там, всё такое, то в шкатулке ещё лежит пластмассовая уточка жёлтая – как если бы они детьми вместе купались, такой намек. — Так они и купались. — Как купались, ну что ты говоришь такое? — Я? Нет, ничего. Ну вот ещё были двое, к примеру: я хороша была в коротких юбочках, скажите, да, мила. — Нет, это ты о другом. Я? — Ну ты, да. — Да, о другом, о другом.

Идти по их следам, диалог – это когда двое. Ну или так. Что я делаю здесь? Кто писал стихи, состоящие из одних заглавных букв? К чему здесь это детское слово? Чувствуется сила в этих стихах об отце. Чувствуется. У отчима запасная семья где-то, вроде, в Саратове. Я никогда не был в Саратове. — Я? — Ну да. Саратов стоит на Волге. У Саратова есть губернатор.

Мы стоим на твёрдой почве отчаяния. Какой губернатор? Местная власть. Да ладно, Бобруйск. Вот есть Новомосковск, откуда еврейский мальчик Матвей. — И что Матвей? — Матвей грозился наложить заклятие, не советовал ссориться с собой.

Когда было холодно, и будет, и зима, и луна неполна, и запятые приплясывают на белой странице как бы от постоянного, никогда не перестающего сквозняка, приснонеоскудевающей прохлады, которая льётся прямо оттуда, из самой середины, из мягкой серединки, из сердцевинки каждой половинки.

Не увлекайся. Угу. Не каждый может стать городским головой.

Для этого необходимо большое и мягкое сердце, сердце тёплое, сердце необходимо. Ещё необходимы большие ласковые руки, в которые весь Саратов так прямо сразу и поместился бы, лёг удобно одним движением, встал на место, как будто так прямо созданы они для Саратова для этого. И чтобы все хрустальные колокола звонили, а горожане спешили в храм вечером субботы. И чтобы снег летел медленно и ясно.

Суламифь и Вирсавия, девочки и солдаты, то и другое совсем. В глубине и на поверхности, на берегу пруда и среди цветов. Оставайся живым, не смотри.

— А ещё я видела такой фильм. В нём мы мучали друг друга. Все, брат, не то, – как писал К., – и хлеб, и вино не те. Не те, даже не другие, а вовсе какие-то, идущие по кругу, взявшись за руки, вцепившись в потные лапки друг друга, по кругу путешествующие, они никуда не придут, да и куда.

Вроде Га-амлет, грузный принц, изогнувшаяся от утреннего света улица, по которой идут девочки и мальчики, за флейтой, но по кругу, потому что моря в этом городе нету, ну нету. Ах, вы, Розенкрейц и Гинденбург, Пат и Паташон, летающий цирк, куда вы, куда, ну зачем, что за дурацкая идея, нету тут моря, нету вот только спрямлённые улицы, темнота, небольшая и треугольная площадь среди старых домов, в дыму и сиянии в сиянии и дыму, как в книжке, как на картинке, как в кино. И полуголый мальчик жонглирует бензиновыми факелами, собирает деньги.

Вернуться сюда через две недели, сидеть на берегу моря, – Силурийского, шумящего там, аммониты и трилобиты, и кистеперая рыба разевает ротик, чего-то говорит нам, наверное, о чем-то предупреждает, хочет сказать наверное, не ходите сюда, незачем это вам, серебряный пузырик, бензиновый дым, рябь на воде, непригодной для дыхания и питья.

Средиземноморье, теплый мячик, Transmediterranean и тик так, и тик-так, а в королевстве датском дела, натурально, хуёво как-то. Где-то даже из рук вон там как-то дела. Das Bild, к примеру, пишет о том, что секвестр, бессонница и ночница, и нашествие оттаявших кроманьонских слонов, все клумбы затоптаны и превращены буквально во что-то вроде танковых полигонов или Военно-грузинской какой дороги, но нам-то, нам всё нипочем, у нас руки по локоть в молоке и слова любви на губах не обсохли и не обсохнут, потому что тут всё как обычно.

Так что остаёмся и смотрим. Сидим, слушаем прошлые волны, которые только у всех на слуху и остались после того, как море обиделось и утекло, обливаясь слезами с повышенным содержанием йода и других элементов седьмой группы. Что-то не то мы ему сказали и вот, живём теперь на возвышенности, на равнине, на плато, посреди жёсткой и неудобной какой-то асимптотической поверхности, почти плоской, но неплоской ровно настолько, что слёзы катятся вниз куда-то, в нижние области, где трилобиты, и аммониты, и папоротники, окаменев от неловкости.

Совсем живые девочки и солдаты, вот как Урия и Вирсавия, как летят журавли и династия Соломонидов с полковником-выблядком под занавес. Не совсем живые ткани, никак не оправятся после гистологии, болят. Подходи к окну, сняв пиджак, проникнув сквозь узкое отверстие в свитер, смотри, - там за окном снег падает, уже ночь ночь, как всегда ночь. Потому что север, потому что к декабрю дело, из монитора свет как расплавленная сурьма. Черный, блестящий. — Или это антрацит, зеркальный уголь? — Ну нет, никакое.

Раскачивает букву, вынимает из слова как молочный зуб. Во всем мире мышка забирает зубик молочный, приносит костяной откуда-то из-за печки, из подземного мира, где они сложены у неё, костяные зубы. Русская мышка – жадина, она костяной зубик не приносит взамен, он сам вырастает, она только берёт молочный небольшими лапками и куда-то уволакивает его туда куда-то, где русские мышки складывают наши молочные, – до тех времен, пока не понадобятся обратно, мы же во плоти воскресаем, а не так себе, привидениями из плохих снов продюсера мистических телесериалов. Вот во плоти и встанем, в крестах да в нашивках, – но с молочными зубами, поскольку костяные утонут в этой глине, среднерусской, лягут на дно силурийского моря, – а кусаться не принято ни в нижних областях по-любому, ни в верхних. В нижних – поскольку на это нет времени. В верхних, – поскольку нектар и амброзия, а ёбля вся какая-то нежная такая, ванильная, без намёка на С/М, обойдемся молочными, дорогая мышка, начальник депозитария нашего, забирай, – костяные тут сами растут, только творога надо побольше есть или йогурта там к примеру, – врачи говорят.

— А что врачи говорят? — Саратовские врачи говорят, стоя по берегам Итиля, замерзшего, замершего до начала навигации, перекрикиваются, берега далеко, фонари светят каким-то специально сконструированным, неверным светом, и идёт снег, все ходящие, бегающие, оставляют цепочки следов, ползающие спят, летающие сидят нахохлившись по карнизам, воркуют в вентиляционных отверстиях, откуда запахи ванной и тепло, тепло, горячо, я нашёл, ухватил за хвостик. — И выпустил, побежал в другую сторону, – на свет милицейской мигалки, ой, работает, ой, не работает. — Возьми меня цепкой Лапой, держи меня, не отпускай меня, это не работает так, держи, держи. — Саратов, серебряный городок из табакерки, торговый путь воды, вниз по течению, – однажды мы приплывём.

Выпуская изо рта радужные, разноцветные шарики бубльгума, выдувая по фразе в пятнадцать минут, по стишку раз в полгода, – однажды почувствовать, что воздуха не бесконечно много, а ёмкость лёгких вызывает серьезные и оставляет желать, – выйти на балкон, надуть пару облачков водяного дыма – и отпустить. Скосить глаза налево, куда, наверное, они гуляют ходить и дышать непрочными своими шагами. Отсюда не видно, и ладно. Пойти, включить новости, оранжевое BBC World, откуда оно взялось, сесть и смотреть до следующего утра, когда оно ещё будет.

Кабельные каналы, не зацементированные ещё до времени, утро нескоро, снег уже долго, Новый Год с девяносто шести на девяносто семь, с пятого на десятое, электрическое содержимое корейского телевизора и разные способы зарабатывать небольшие деньги. Шампанское, которое вовсе не хочется пить, а только смотреть, как на иллюминацию и гирлянды.

Розенцвейг и Гольденвейзер из вечернего шоу, – как же вас угораздило так попасть? Можно ли так невнимательно относиться к знамениям и пренебрегать доказательствами, так и не получив ни того, ни другого? У них скорее будет чёрный партнёр, чем они примут на работу еврея. Но приняли же, резонно предположив, что из этих, а значит, может оказаться каким-нибудь Мошиахом и не оберёшься хлопот, крылья не отрастут, а отрастёт неприятное что-нибудь и вообще, с собой не возьмут. Что, неужели всю жизнь провести в серебряном и холодном Саратове? В Саратове уютном, где изо всех щелей и вечно разлита вода в коридоре, всю жизнь? Нет, нет, наверное.

Что ты знаешь, продюсер, про жадную русскую мышку, про то как болит костяной слева сверху (хотя никто не сможет этого проверить), как он болит месяцами зимы, короткими днями осени, когда пахнет дымом и церковной бежевой свечкой? Облако перебегает над нами, бежит по нераспаханной целине и торопится на ту сторону Европы, где можно качаться над морем. Ну и не смотри, ну и забудь моё имя, имя моё, имя, потные лапки буковок и слогов, обращения вокруг шатких осей, почти уже тридцати шатких, непрочных штук.

Нни-че-го. Пара выцветших детских фотографий (то есть, что-то такое совсем альбомное, мальчик в бескозырке, троюродная сестра Анечка, жить бедно, лишний раз бутылку фанты не купить девочке), задачник арифметический Розенбаума и Гольдфарба, – куда вы плывёте, куда, сухогрузы безмысленные, речные, спиногрызы короткоживущие, в одну трубу вытекает полторы тысячи баррелей нефти, в другую – сто тыщ миллионов, и скоро ли биржевые индексы падут, а вознесутся иные?

— Будут восхищены. *Это говорится с уверенностью.* — Вот, третьего дня говорили об индексах, и смердело. А вчера были восхищены, исчезли, истаяли, стали придаточными, обращениями, причастными оборотными, бессредственными, осиными, птичьими, когтястыми, оборонительными, массовыми, мягкими, хлопотливыми, мгновенными, стали, превратились, преобразились, претворились, перешли, вчера еще посреди нас ходили, а вот поди ж ты, уже.

Это говорится с уверенностью, глядя прямо в глаза выговаривается, с чёткой артикуляцией и латинским, времен расцвета, выражением лица, с серо-стальными глазами, аккуратно сложенными хищными перьями, под заволжскими звездами. А вот и огонь.

Говори медленно и ясно, - учат они, - уверенность и сила на твоей стороне. Мы, хорошие ученики, внимательно читавшие и *Das Bild* и *Allgemeine Zeitung* и ещё бог весть какие листовки то с серпом и молотом, то с совсем уж непонятными переплетениями линий. А ты всё про Саратов. Это по сравнению с тем, что говорила Л. тогда, на балконе. Или по сравнению с тем, что говорил М. тогда, в полуосвещенном продуваемом недоофисном помещении над кафе “Маргарта”. Не смешно ли. Мы и так всё знаем, нам более чем достаточно этого железа, которое всё громоздится, громоздится, толкается у нас в голове, не даёт спать, ни одной истории не даёт даже начать, не то что рассказать.

— Ну, это же ненастоящие книги, а так. Вроде бы разговариваем мы, вроде даже и не слышим друг друга, а всё равно доносится какое-то вроде шелеста что ли, будто бы листва, как бы трава, шум, шелест, урчание. — А как бы выглядела такая книга? Она так и выглядела бы – вся из шелеста и урчания, прожилок и устьиц, маленьких вздыхающих сокращающихся, кислород на выходе, двуокись на входе.

Облако медленно летит над нами. Воскресение во плоти обещано, но как-то не навсегда и нетвёрдо. Перед дальней дорогой всегда возникают какие-то другие заботы и непонятные хлопоты. А всего-то нужно перейти через эту чёрную воду, – не касаясь ряби, – быть легче водомерки, больше самих себя, как мы запомнились своим любимым и нелюбимым тоже, им особенно.

Через этот город протекает несколько рек. Вода в них непригодна для питья, рыба тоже никакая не водится. Только и остаётся, что стоять на мосту, смотреть сверху на маневрирующую ржавую баржу, приспособленную городскими властями для совсем уж каких-то непонятных хозяйственных нужд. Сверху валится серая снежная каша, сквозь которую пробивается низкий гудок, заполняющий весь объем от тротуаров и мостовых до неба. Или тёплое море, по набережной гуляют девочки и солдаты, возле набережной высовывает морду из воды любопытная кистепёрая рыба, Transmediterranean, солнечный мячик, тягучие облака.

Какая сила в этих стихах об отце. Стиснув все свои костяные зубы, перебравшись через море, запомнившись таким, каким больше не будешь, избавившись от ненастоящих книг, встаёшь, – без орденов, без нашивок, без погон, которых никогда не носил. а как есть – в бесформенном чёрном свитере, в застиранных чёрных же джинсах. В кармане – смятая пачка с пятью сигаретами, за верхними рёбрами – глуховатая пустая тоска, в голове – содержание двух вчерашних газет.

Так и встаёшь. Видишь, что нет, рано, история не рассказана до конца, Яуза ещё не замёрзла, и силурийское море беспокойно как-то двигается на ветру, жадная мышь в зубах у сердца разевает рот и пишит беззвучно. Саратовский губернатор с тоской смотрит в окно, диктор BBC World складывает бумаги, глядя в камеру, солдат обнимает девочку за плечи.

Розенкранц и Гильденстерн плывут, плывут.

СЛОВО О ЦВЕТАХ И СОБАКАХ

I

видел на улице автобус РИТУАЛ. подумал, мало что изменилось здесь. автобус всё такой же маленький, проржавевший и намазанный красным в неподходящих местах как лицо молодящейся девочки. как тогда, – восемь лет уже и неуместные эти фрезии.

рассказывает истории: родила ребенка, купили квартиру. ну, какие истории. это так, течение жизни. в жизни нет сюжета, в ней отдельные эпизоды, а склейки – погодные: идёт снег, дождь моросит. осадки. как в детстве, когда не было ещё рекламы по перед новостями, а были *телезарисовки*. сейчас как подумаешь, – это сколько же денег проёбывали. денег. странно даже.

небольшие здания, подмигивающие вывески, туда-сюда восемь лет, подумать, восемь уже, в которых ничего не помещается, выпирает, неаккуратно умятое. и руки замёрзли.

мы в это время сидели в темноте, жгли настольную лампу. потом мальчики повзрослели, время-то идёт и сполохи пропали куда-то. а настольная лампа тоже погасла, но мы и так в темноте сидели, нам какая разница.

а потом взяли ручку капиллярную в правую, карандашик в левую – отчёркивать. и написали *вотэто*.

не надо ничего придумывать, вот оно у нас всё тут - и фрезии и разговор тот во сне, – зачем-то я вру, что был в Вене, не был в Вене, не верьте мне. вот там был. и там тоже был. а в Вене – нет. и бежать не хочется никуда, потому что перестало быть понятно зачем. и что такое “бежать” тоже перестало быть. а что стало быть, то какое-то странное и под конец зимы.

добрые. только чай у них плохо заварен и пахнет ацетоном – впору прятать спички и не курить в помещении. а непонятно тогда, зачем помещение.

жесты речи. ля-ля-ля.

и сплошное полыхание – все те четыре, и эти четыре, и всего сложите сами сколько. и истории из жизни. и бестселлеры западного типа. и центральные фигуры литературного процесса. и настольная лампа на сцене в ОГИ. и тёплая зима. подстриженными глазами смотрят, порезанными связками прикрикивают *кудакудавыудалились*, подкудахтывают. попискивают ответа нет. и этот как его.

отнять, поделить, сложить для дальнейшего хранения повсюду. это здесь, то – там. сюда пишем, здесь не играем. иди чайник ставь, разжигай утюг, на работу пора.

всякая тварь страдает и мучается доселе, - цитирует И. послание А. и чего теперь? делать-то что? дьюи вот был голова. знал, что всегда надо что-то делать, знать, что именно делать. делать именно то, что знать. и чтобы ещё понимать при этом, что это. а уж хабермас. во-от.

и есть масса более приятных занятий, приносящих бóльшие. только они все спрятаны куда-то. а куда? а никто не знает. но есть, они где-то тут. всё время начеку, как покрашенный в красное автобус РИТУАЛ. не то, чтобы. а просто едет по улице встречаться и попадаться на глаза в неподходящий момент, тоже спрятанный начеку среди других подходящих.

три-четыре. и вострубил. Б-г принимает к нам разные меры, но нам всё как-то не до того, живём как жили. пьем много, едим мало, обижаемся, когда ругают, когда хвалят, начинаем с ними, кто хвалит, дружить, хотя, вообще-то, и руки бы иным не подали. благодарность требует своего. пожалуйста, не за что, приходите еще. но потом. нам надо восстановиться после вашего предыдущего посещения.

нет, ну вы представляете? УСООР. УРЭБ. какой-то рыбий язык из даниила андреева. эгрегоры метрополитена последних дней. а тут ведь подворачиваются более приятные занятия. и даже не полнолуние. а пробки бесконечные. и цвет неба за окном, единственное, что там есть хорошего.

очнулся, залез вовнутрь, зачерпнул полной рукой этих пузырьков из лёгких и давится, заглатывая их теперь. вроде икры, но внутри там воздух, из которого вырастет ещё больший воздух со временем и пойдёт, разный, разным людям на вдохи, после чего всё повторяется по новой. кому воздуха не хватает, ловят его чем придётся. мы вот на кончиках пальцев.

топ-топ. мораль и коммуникативное действие. внимание, правильные вопросы, как писала афа – рорги или хабермас. джинсы или юбка. направо или налево. мальчик или девочка. гвоздики или фрезии. плюс два или минус два. пидорасы или распиздяи. хуесосы или мудозвоны.

мы брели по тоннелям метро, где поезда обгоняли нас с криком и посвистом. где грохотал сабвей, сворачиваясь внутри самого себя перевитый проводами, кабелем, медью. в конце концов я оказывался на мосту, но выбраться из метро всё равно не мог, потому что повсюду выход стерегли сердитые рабочие в оранжевых спецовках. и я тогда шёл обратно, бродить опять по тоннелям, а машинисты стояли в кабинах с неприятными лицами, как у пьяных на улице. я никак не мог выйти. и я понимал, что это во сне, но было страшно всё равно как-то очень. а потом мне в.б., он вообще литератор и работает в газете про книжки, написал в комментариях, что метро – это как бы образ ада. хорошо вот, научил меня михал палыч, что во сне такие вещи символического значения не имеют. но всё равно страшно и неудобно. проснулся, пошёл на кухню, съел пастилы, морсом клюквенным запил. вроде легче сделалось. ну и заснул.

[и вот, УСООР идёт к Б-гу и говорит: *ну доколе. доколе. давай испытаем их.* Б-г морщится недовольно, Он это в гробу всё видал, и испытания тоже особенно, потому что один уже, да. и надо же как-то. они достают, тем временем (у них там утро) софары с тимпанами и давай праздновать новый год – китайский, теперь у людей такая каша в головах, в России особенно, что охуеть, гречка с овсянкой отдыхают, манка идёт комками вразнос.

Б-г машет рукой или что там у него, лапка, да лапка, машет лапкой, всё останавливается и замолкает. менеджеры удивлены и пытаются понять, кто же испортил им корпоративный праздник, на которой, между прочим, скидывались по пятьсот, что ли, рублей.

решил, – говорит, – испытать вас. кто быстрее доберется в дамаск, тому слава, деньги, любовь. визовой поддержки не обещаю, но бодрствуйте и молитесь.]

бодрствуют и молятся, как хорошие зайчики, аккуратные и послушные.

потому что у них своё понятие а у нас своё. потому что им не написать никогда как нам никогда не написать уже. но мы хотя бы умели раньше они нет ничего.

вот катя говорит я знаешь еще это могу про ниоткуда, а дальше как-то уже. ничего как-то не понимаю.

ну хорошо

вот смотри катя есть ТРАХЕИ БРОНХИ ГОРТАНЬ. выдох вдох холодная монетка под левым соском. хрипы, говоря, но можно проще сказать. болтовня, буковки и звуковки пиздец в голове разные насекомые типа блошек. успеваешь записать иногда, если запомнил и поймал за что-нибудь, ухватил, выпросил про неважное и записал, быстро-быстро, а то забудешь.

это и есть и нечего тут понимать.
ниоткуда нам так уже никогда.
им так никогда вообще.

бодрствуем и молимся пока, всем спасибо. я потом подробнее объясню, хорошо, катя? это сложно во-первых, и во вторых я, не очень уверен, как именно я хочу сказать. я хочу сказать в настоящий момент. я хочу сказать в предстоящем сезоне. я хочу сказать в завершившемся квартале.

они барахтались, а мы это всё имели. имели. и протыкали насквозь спицей, так раз, раз, и в ребро. и соскальзывает. и плевра с тихим хлопком. лопается. случайно попасть в средостение. кровь собрать в стакан. воздух, выходящий из дырочки, вдохнуть, он пахнет. внутренностями, жидкостями чужого тела. болотный запах, тёплый.

II

плюс два или минус два? синенькие или красненькие? селезёнка или ливер? софар или тимпан? отдел продаж или отдел закупок? рождество или пасха? ответ или вопрос. логистика или менеджмент.

[видел на улице собаку лиловатую, уже не коричневую почти, состоящую из рисунка мышц под шкурой, тонких пружинистых ножек и заячьих ушей в укороченном варианте. долго смотрел на неё, как она бегала.]

меня зовут гулять туда, на улицу, но я открываю окно и никуда не иду, у меня ни мяча футбольного, ни клюшки, обмотанной чёрной изоляционной лентой, которая пахнет резкой и неживой смолой. и велосипеда тогда ещё нету тоже. вот зато книжка, ну и что, что весна и бегать по крышам металлических гаражей. говорю маме, горло болит, не хочу гулять, можно я почитаю.

зачем я принёс фрезии тогда, зачем? почему меня это так мучает, не понимаю. мне показалось, что если она умерла, то неправильно приносить цветы, как если бы она умерла. неправильно, что все покупают гвоздики, потому что это как бы мы соглашаемся, что всё, всё, живым не покупают же гвоздики, только раньше покупали, когда никаких не было настоящих цветов. я просто подумал, что если бы ей живой покупал цветы, то это были бы фрезии, ведь весна же была, март. и купил фрезии, четыре веточки фрезий, такие разноцветные, похожие на полевой какой-то цветок, из тех, что на даче. жёлтые, лиловые и, кажется, красные.

а все были с гвоздиками. и потом, уже дома, в квартире, забежала от соседей такая же точно собака, как та, что мне встретила тут недавно. только маленькая, щенок ещё. чего-то утащила, съела какой-то кусочек и убежала быстро, потряхивая упругими ушами.

и я ещё думаю вот про что. можно ли обо всём этом писать сейчас? это ведь не только из моей жизни, а ещё разные люди там были, и для кого-то из них это всё важнее, чем для меня и ближе. и они могут ведь это прочесть то, что я пишу сейчас. купят книжку, если книжка выйдет, или не купят, а случайно как-нибудь она к ним попадёт. вдруг кто-то из них тоже запомнил собаку, как она забежала поесть на вкусный запах. и даже фрезии мои кто-нибудь мог запомнить.

но потом я думаю (сейчас вот прямо), что это же и моя жизнь тоже. а если эту собаку никто не запомнил, а только я, то я обязательно должен почему-то об этом написать. не знаю, почему. и про фрезии, вдруг это только мне было так ужасно неловко, а никто ничего не заметил? тогда обязательно нужно это сказать всё словами, потому что иначе ничего совсем не останется. а так неправильно. я не знаю, почему, но мне так кажется.

и не только важное, ну, то, что мне кажется важным, про фрезии и про собаку. а ещё про эгрегори метрополитена последних дней, про УСООР тоже и про УРЭБ. менеджеры, – кирилл вот, олег, дима юрцвайг, у которого на столе всегда лежит какие-нибудь печеньеца или конфеты, у него ещё ребёнок маленький совсем, три с половиной месяца сейчас, когда я про него пишу.

может быть, это неправильно и я как-то ну, не знаю, вмешиваюсь что ли в их жизнь, когда тут их называю по настоящим именам и вообще. не знаю. но только мне кажется, что их упомянуть – это то, в общем, для чего я живу на свете. потому что остальные свои обязанности я исполняю из рук вон плохо, отец из меня никакой, прямо скажем, сын тоже довольно аховый, так я и не разобрался в своих отношениях с папой и мамой, как со мной ни бился мой терапевт, не знаю уж, кто тут из нас виноват больше.

муж из меня вообще уже полтора раза вышел такой хуёвый, что обеим, я думаю, вспоминать неприятно. только первой жене приходится со мной довольно часто общаться, она привыкла, наверное. а тая, я думаю, вообще постаралась забыть и не вспоминает совсем, ну, старается.

хотя вообще вот и первая жена, я не знаю, был у нас как-то такой разговор случайный, вышел на дне рождении дочери, как она не получила чего хотела, я тогда подумал, что ничего, конечно, не деваётся никуда, забыть – это несуществующая в общем-то вещь. слово даже само какое-то странное, то ли было что-то, и оно теперь за тобой, то ли ты за ним был, а теперь перед ним, в другом, вроде бы, месте.

я это говорю не затем, чтобы вы меня стали, скажем там, переубеждать, –хотя мне было бы очень приятно, – но мы с вами вообще друг друга, может быть и не знаем, вы книжку случайно купили (если она вышла) или на вечер на мой пришли, а я тут читаю вслух слишком долго, – мало ли. и если мы друг друга не знаем, то переубеждать меня глупо, я всё равно не поверю.

я, наверное, просто пытаюсь вам объяснить, зачем я пишу тут про фрезии, которые я принес на похороны этой женщине, с которой поговорить не успел толком, жалею ужасно. и про диму юрцвайга вот вспомнил, и про собаку. я это пишу, потому что мне кажется, что это непонятным совершенно образом, ну, не могу слово придумать. справедливо, что ли. я, может, много беру на себя, они же и так все записаны где-то, и каждый волос сочтён и никакое слово не остаётся, но я, маловвер, хочу быть уверен.

уверен в том, что вот хотя бы эти несколько человек – первая моя жена юля; дима юрцвайг и кирилл масленников, труждающийся на благо всё того же непонятного УСООРа; ты, я тебя не назову по имени, потому что вдруг тебе не понравится, но мы знаем, что это я про тебя; илья, цитирующий послание апостола; инопланетная собака; михал палыч и afra, сетевой персонаж; тая и литератор березин; вы, которые меня сейчас слушаете или случайно книжку купили, если она вышла, – что хотя бы они, вы, мы, я не знаю, i'm good with words в общем обычно, это сегодня со мной что-то не то творится, – чтобы мы или вы, я или они, ты и вы, вы и вот вы, – побыли хотя бы немного здесь, если так можно сказать: здесь, – я совсем запутался, кажется.

я имел в виду, вот зачем я болтаю, рассказываю про какие-то случайные мелкие штуки и про разных людей: это один из немногих видов любви, на который я способен пока. а ещё, – я знаю, что это хуйня конечно, так не бывает, – но мне кажется, у меня есть ощущение такое, что смерть, – когда и если смерть прочтёт то, что я здесь написал, – она почему-то отступит, раздумает и пощадит нас.